



**Анатолий
Алексин**
Сага о Певзнерах

ФТМ

ХИВ

Анатолий Алексин

Сага о Певзнерах

*Посвящаю любимой жене – Татьяне
Алексиной, чей человеческий и творческий дар
всегда взыскательно поддерживает меня
и во всем мне помогает*

Книга первая

«Еврейский анекдот»

Это было давно. Но никогда и нигде не должно повториться... И потому я пишу эту книгу.

Есть такой анекдот... Смешной и трагичный. Он именуется жизнью. Ее можно назвать и «романом с вырванными страницами». Я вырываю страницы, вырываю страницы... Чтобы второстепенность не заглушила смеха и не спрятала слез.

Но стены смеха на свете нет. А Стена плача пролегла от Иерусалима по всей земле.

И город, по которому я иду вечерами, она тоже пронзила. Иду вечерами, уходящими в ночь... потому что туда, в ночь, ушла и биография нашей семьи. Автоматически, наизусть пересекаю улицы, минуя бульвары, заворачиваю в переулки. Не замечая ни переулков, ни бульваров, ни улиц... Я иду по дороге прошлого. И замечаю лишь зигзаги, рытвины, пропасти, которых на той дороге было так много, и гладкие, празднично ухоженные пространства, которых было так мало. Память соединяет эти редкие метры счастья с беспредельностью потрясений, разочарований и бед. Соединяет в роман, который должен ответить: «Зачем же был этот путь? И к чему он привел?»

Я обязан все вспомнить и записать. А потом вырвать незначительное, способное лишь отвлечь. Вспомнить и записать...

Те люди, которые гораздо дороже мне, чем я сам, никогда не были здесь, и потому я живу в этом городе. Я не смог бы жить в том, другом – пусть и великом! – где их не стало... Но я часто приезжаю туда, чтобы удариться душой о могильный камень, о памятник, как о Стену плача. Она, святая Стена, достигла и далекой могилы, с которой начался гибельный ужас нашей семьи и которую отыскать невозможно. Как невозможно объяснить все таинства и загадочности, с жестоким упрямством сопровождавшие мою дорогу...

О нет, быстротечна лишь легкая жизнь, с которой жаль расставаться. А тяжкая – бесконечна, и никак не допросишься, не дождешься ее конца.

К чему все свелось и чем завершилось? На это память моя ответит не сразу.

А с чего началось?

* * *

О дне моего рождения у меня, увы, нет собственных впечатлений. Но с чужих слов я могу воспроизвести тот день в самых мельчайших подробностях. Мельчайшие – это вовсе не «мелкие»: по значению своему они могут оказаться даже крупнейшими. Уж поверьте мне, психоневрологу.

Детали, детали... Из них состоит все: человеческий организм, природа, машина. И повествование мое тоже соткано из деталей – увиденных чьими-то глазами или своими; существовавшими наверняка или домысленными; сбереженными стойкостью памяти или рожденными воображением.

О пребывании в родильном доме в качестве новорожденного я постарался выяснить все, поскольку именно с этого начался отсчет не одних лишь детских болезней и шалостей, а главных событий моей судьбы. Как и судеб сестры и брата, которые протолкнулись на свет вслед за мной – друг за другом – с интервалом в пять или десять минут. Не более... Правда, мама до этого мучилась трое суток. Лучший друг нашей семьи Абрам Абрамович по прозвищу Еврейский Анекдот укрощал юмором любые жизненные напряжения. «Шутки, анекдоты для этого именно и придуманы», – уверял он. И когда отец с Золотой Звездой Героя Советского Союза на груди метался по коридору родильного дома и впивался пальцами в свою голову, поседевшую от героизма, Абрам Абрамович, оглядевшись, доверительно сообщил:

– Там, у Юдифи внутри, три джентльмена: один другому уступает дорогу.

Старые анекдоты вызывают досадливое раздражение, но отец не испытал раздражения и досады: дело, стало быть, не в родовой патологии, а в особой интеллигентности его будущего потомства.

– Деликатные, черти! – впервые за три дня воспрял духом Герой.

По Еврейскому Анекдоту выходило, что я оказался наименее интеллигентным и деликатным: опередил брата и даже сестре – будущей женщине – пересек путь.

Тогда я еще не отвечал за свои поступки. Иметь право не отвечать за них – такое душевное облегчение! Но предоставляется это право лишь новорожденным.

Мама рожала в обстановке обостренной «сталинской заботы» о ней

и нашей семье. Нарушив все законы санитарии и гигиены, в родильном доме сгрудились корреспонденты газет, журналов и радиостанций: у Героя Советского Союза и его «боевой подруги» родилась тройня! Да еще этот патриотический акт был «сознательно» приурочен мамой и папой к взятию Берлина согласованными действиями разных фронтов под водительством маршала Жукова. Так, по крайней мере, объясняли наше коллективное появление на свет корреспонденты... Поэтому их, вместе с отцом и Еврейским Анекдотом, пустили в святилище, наконец-то покинутое страданиями и заполнявшееся не только корреспондентами, но и благостью материнства.

Вопреки правилам, наша тройца расположилась непосредственно возле мамы: так удобней было наблюдать за семейством Певзнеров, фотографировать, увековечивать его голоса.

Поскольку журналисты и отец с Анекдотом облачились в халаты, можно было подумать, что осуществлялась какая-то глобальная медицинская ревизия или консультация.

Кинооператор с камерой на плече потребовал «сцены первого кормления» или, точней, инсценировки. Мама, растерявшись, стала прикладывать нас к груди на глазах у кинообъектива и журналистов, которые все как на подбор были мужчины.

– Слава требует жертв! Не терзайся... – успокаивал Еврейский Анекдот отца, который, хоть и был Героем, ревность никогда победить не мог. Анекдот успокаивал отца так, будто и сам принимал в этот момент валерьянку: он тоже предпочитал, чтобы мама увековечилась не оголяясь.

Потом, через многие десятилетия, я скажу умирающему Анекдоту:

– Абрам Абрамович, я не хочу прощаться... Вы не должны уходить... Вы так любите жизнь!

– Я любил вашу маму, – ответит мне он.

Но в первый день моего рождения он еще не сказал об этом. И не сказал никогда, никому – даже маме – до дня своей смерти.

Вспышки магия чудились вспышками салюта в честь появления тройни у Юдифи Самойловны и Бориса Исааковича Певзнеров.

Словно возражая против корреспондентской возни, мы трое орали, потягиваясь разинув рты. Этот плач, нареченный «кликами торжества», записывали на пленку, ему посвящали абзацы будущих очерков, неизменно связывая наше новорожденное ликование со взятием фашистского логова.

Было похоже, что праздник семьи Певзнеров становится всенародным.

Один из газетчиков совершал перебежки от мамы к отцу и обратно,

пригнувшись, как под огнем противника. Противниками были его коллеги: каждый пытался извлечь из супругов что-то новое, чего они еще не успели сказать другим. Журналисты панически суетились, будто опоздание или нерасторопность грозили им судом военного трибунала. Ничто не подстегивает так надежно, как страх. А он не упускал тогда ни одного события: ни трагического, ни праздничного, ни обычного.

Создавалось впечатление, что до самой семьи, столь уникально отметившей победу над Гитлером, никому из журналистов особого дела не было: они, расталкивая друг друга, пытались продолжить свою карьеру на маминых муках, на папином героизме и на редчайшем коллективизме новорожденных (все же чаще в мир входят поодиночке!).

Тот, который совершал перебежки, пригнувшись, как на войне, обратился к Еврейскому Анекдоту:

– А вас как зовут?

– Друг семьи, – ответил Абрам Абрамович, не желая превращать торжество в еврейский анекдот.

Вообще-то у евреев не положено называть детей именами живых родителей. И если имя сына совпадало с отчеством, это значило, что он явился на землю, когда отца на земле уже не было. Отец Абрама Абрамовича не дотянул до рождения сына. ЧК оборвала его жизнь за то, что он продолжил жизнь восемнадцатилетнего юнкера, укрыл его в своем доме. У юнкера не было ни единой вины: ни перед русским народом, ни перед матерью-Родиной. Хотя укрыть его и спасти вымолила не символическая мать, а та, которая родила...

Минут за десять до сообщения о взятии рейхсканцелярии из своей канцелярии к маме нагрянул главный врач.

Взглянув на него, Еврейский Анекдот шепнул отцу:

– Он, так сказать, объединяет в себе представления о фронте и о родильном доме: кровь с молоком!

Абрам Абрамович потерял в сорок первом году правую руку и убеждал всех, что *одному* человеку *одной* руки достаточно.

Чувство юмора может стать опорой и подарить самообладание почти сверхъестественное... Абрам Абрамович был хирургом и, лишившись руки, лишился того, что составляло цель и смысл его бытия. Ему пришлось поступить на службу в медицинское издательство, для чего одной руки и в самом деле было достаточно.

– Если многие пишут левой ногой, почему я не могу их редактировать левой рукой? – сказал он.

Потеряв дело, о котором грезил с самого детства, он не осуждал тех, кто не потерял на войне ничего: его беда не жаждала чужих бед. Но главный врач, мужчина вполне призывного возраста, источал избыточное здоровье. Родильный дом, который он возглавлял, был создан для прихода людей в жизнь, а не для ухода из нее. И все-таки его жизнерадостность, позабывшая об уходе из жизни миллионов, даже Абрама Абрамовича заставила помрачнеть.

Главврач поздравил маму так весело и беспечно, будто она не мучилась трое суток. А целовал ее так крепко и продолжительно, что Еврейский Анекдот на всякий случай прокомментировал для отца:

– Это братский поцелуй, Боря!

Затем главный врач расцеловал нас троих, хоть делать этого не полагалось:

– Мои дети!

– Он шутит, – объяснил Анекдот.

Но главврач вкладывал в свою шутку нешуточный, обобщающий смысл:

– Всех детей, которые здесь рождаются, я ощущаю своими!

Корреспонденты восхитились, а отец окончательно успокоился.

Частной собственности у нас тогда еще не было, но главный врач считал своими и дом и детей.

– Хорошо, что он не ощущает *своими* рожениц, – сказал Анекдот.

Отец никогда не изменял... Ни маме, ни семье, ни своим политическим убеждениям.

«Не дай вам Бог жить в эпоху перемен!» – говорят на Востоке. Стало быть, на Востоке страшатся нестабильности. Я думаю, и на Западе тоже. Отец, благодаря своей мужской и родительской верности, подарил нашей семье стабильность. То есть покой. «На свете счастья нет, а есть покой и воля...» Я, как и поэт, поставил бы на первое место «покой», потому что воля без покоя ничего не стоит. Уж поверьте психоневрологу...

Ортодоксальность в любви, на мой заинтересованный взгляд, отца возвышала, а ортодоксальность политическая – унижала. «Опасных» анекдотов Абрам Абрамович при отце не рассказывал. Но не потому, что отец их боялся, а потому, что он не подвергал сомнению ни одного *поступка* Советского государства. Заблуждаться могли люди, но не страна. Да и те люди, которые олицетворяли собой государство, по мнению отца, в потемках заблуждений плутать не могли.

– Страна любит нас! – преподнес отец маме свою патриотическую

убежденность. Хотя для нее важнее, я полагаю, была его любовь. – И завтра все узнают, что у нас с тобой родились девочка и два мальчика.

«Страна любит нас... Страна узнает...» Эти фразы записали все корреспонденты и зафиксировали все звукозаписывающие аппараты, которые незаконно, нарушая элементарные гигиенические правила, разместились в палате.

Но страна не узнала. Сообщения о торжестве в семействе Певзнеров не появились. Ни на следующий день, ни позднее... Родильный дом не верил глазам и ушам своим. Врачи и медсестры, накануне ошалело наблюдавшие корреспондентскую суету, на рассвете устремились к газетным киоскам. Предвкушая сенсацию, как деликатес, которого ни разу в жизни не пробовали, они нагрузились пачками утренних изданий, чтобы прочитать, показать всем, чьим мнением они дорожили, и сохранить на память. Включили радиотарелки. Ближайшие и даже не очень близкие родственники Певзнеров были заранее оповещены – и тоже шарили глазами по газетным страницам, внимали радиоволнам. Страницы и волны сообщали о взятии Берлина, о том, как откликнулись на это историческое событие у нас и за рубежом. Но о том, как откликнулись мама и папа, никто не упомянул. И о нас, новорожденных Певзнерах, которые тоже «откликнулись» самим фактом своего появления на свет, не было ни единого слова.

– Знаешь, есть такой анекдот... – не без грусти сказал отцу Абрам Абрамович, когда безмолвие средств массовой информации стало очевидным. – Один еврей где-то, кажется в Лондоне, говорит другому еврею: «Какой ужас: с моей женой живет лорд. Правда, я живу с его женой». – «Значит, вы квиты?» – «Как бы не так: я ему делаю лордов, а он мне – евреев!»

Положив руку на отцовский лейтенантский погон, Абрам Абрамович добавил уже от себя:

– Еще три еврея на нашей земле... Почему это должно всех обрадовать? И его в том числе? – Кто персонально имелся в виду, Анекдот не уточнил: это не требовало уточнений. – Достаточно, Боря, того, что это радует нас с тобой. И мученицу Юдифь... Предостаточно!

– При чем тут *он*? – тихо вспыхнул отец.

– Если бы *ему* это могло понравиться, они бы напечатали. И сообщили по радио! Неужели ты сомневаешься?

– Здесь нет злой воли и умысла. Я ни капли не сомневаюсь! – мобилизуя свои убеждения и уже гораздо громче ответил отец.

О, как не хватало ему тогда и потом этой капли сомнений! – Все логично. И вполне ясно. Взяли Берлин... В сравнении с *таким* событием личный праздник семьи – ничего не стоит. Не для нас, конечно. А для других... Смешивать два таких разных праздника? Политически сомнительно и, я бы даже сказал, бестактно.

– Не вздумай объяснять это Юдифи, – посоветовал Анекдот.

– Почему?

– Боюсь, она не поймет.

– *Она* поймет! – защитил маму отец.

– Лучше послушай еще один анекдот, – предложил Абрам Абрамович. – К еврею в такой же вот день приходит приятель и говорит: «У тебя родилась тройня... И ни один из трех на тебя не похож!» – «Я всегда говорила, что он мне изменяет!» – восклицает жена.

Отец бдительно насторожился. Шуток на эту тему он не воспринимал.

– А твои мальчишки – точь-в-точь ты! Девочке, прости меня, повезло еще больше: она повторила Юдифь.

Отец не страдал тщеславием. Он вообще сумел избежать серьезных физических и духовных недугов: рост его был баскетбольным, разворот плеч и непробиваемость мускулов были рассчитаны на рекордные поднятия тяжестей, а мозговые извилины «виляли», мне кажется, весьма умеренно, не утомляя его.

– Антиеврей! – характеризовал своего друга Абрам Абрамович.

К тому же отец был русоволосым и без иудейской скорби в глазах.

– Значит, то, что случилось, ты считаешь нормальным и даже логичным? А я вот нет! – неожиданно возобновил утихший было спор с отцом Абрам Абрамович. Это происходило на скамейке возле родильного дома.

«На свежем воздухе мне в голову приходят более свежие мысли: люблю, когда меня слушают, но когда подслушивают, терпеть не могу», – объяснил как-то Еврейский Анекдот.

Терзая пустой рукав пиджака, что свидетельствовало о крайнем волнении, он продолжал наступать:

– Ты подумал, какие чувства испытывает Юдифь?

– К кому?! – всполошился отец. Любая фраза, касавшаяся мамы, могла быть истолкована им как сигнал тревоги. Особенно после столь долгого фронтального отсутствия. Похоже, войну отец ненавидел больше всего не за ее кровавое зверство, а за то, что она разлучила его с женой.

– Успокойся, чувства не «к кому», а «какие»... В психологическом смысле. Психологическом, а не женском! В палату сегодня вламываются,

или забегают, или впархивают – в зависимости от интеллигентности – врачи, медсестры, санитарки. Вопросы и недоумения одни и те же: «Почему не опубликовано? Почему не сообщили по радио?» У некоторых в руках пачки газет. Я видел... Что она, бедная, может им отвечать? Сказать, что ее и нас обманули? Мы же не приглашали всех этих корреспондентов, репортеров и фотографов.

Интересы мамы были для отца равны лишь интересам Отечества. Он поднялся со скамейки так резко и целенаправленно, как поднимался, наверное, в атаку.

– Я пойду и задам те же вопросы. Мы ведь действительно не просили, не приглашали. Они сами... С какой целью? Серьезных соображений, я убежден, быть не может. Обыкновенная безответственность. Но пусть объяснят! А я объясню, что жену фронтовика обманывать стыдно.

Отец впервые, хоть и косвенно, напомнил, что имеет боевые заслуги. Когда людей ослепляла его Золотая Звезда, он стремился вернуть им обычное зрение. А водопады восторженных восклицаний, которые сразу после войны были воистину «ниагарскими», отец усмирлял. Тем самым доказывая, что словесные водопады поддаются регулировке, подобно воде из крана.

– Я пойду. И потребую! Ты советуешь?

– Вместо ответа или совета расскажу тебе лучше историю...

– Анекдот?

– Нет, жизненную историю. Близкую тебе, фронтовую. Один командир взвода по фамилии Буслаев... Я запомнил фамилию, потому что она, как и он, из легенды. Так вот, он кинулся под немецкий танк, обвязавшись гранатами. А танк остановился – мгновенно, как вкопанный. Буслаев остался жив, чем был весьма огорчен. Стремление подорвать танк оказалось, представь себе, сильнее страха смерти. Он, раздосадованный, объяснил свою «неудачу» высоким качеством немецких тормозов – и был приговорен трибуналом к десяти годам заключения.

– За что?!

– За пораженческие настроения и преклонение перед захватчиками. Тормоза-то он похвалил вражеские!

– А верность народу?! – естественно и простодушно, как чайник, вскипел отец.

– Верность режиму для *них* важнее верности стране и народу. Пойми это, Борис. Преклонение... Если Вася Буслаев и преклонил колени, то для того, чтобы бросить себя под танк. Машина остановилась... Но *они* не остановятся, не затормозят – и наедут всей *своей* машиной

на неугодного. Не сомневайся!

Отец и не сомневался, но в противоположном смысле.

– Не верю, что его арестовали просто так, за какие-то фразы. Было что-то еще... Было! Но Юдифь оскорбили без всякого повода. Выставили на смех – этого я не прощу. И ничего не боюсь!

– Знаю, что не боишься. Но и это скрывай. Тем более, что ты *им* веришь, а мне и Буслаеву – нет. Пусть не веришь, а я скажу: они полагаются только на силу страха. Не перед недругами, а перед *своими*, перед системой. Не какого-нибудь там заурядного страха, а сатанинского. Страх, при котором никто – за исключением одного! – не смеет ощущать себя в безопасности: ни ребенок, ни старик, ни Герой. Ты мне не веришь... Но все же пойми и запомни это.

Золотая Геройская Звезда завершала плакатность отцовской внешности. Политическая ортодоксальность, такая же непробиваемая, как и его мускулы, вполне соответствовала внешнему виду. Все в отце было органично... для него самого. Ничто не противоречило образу патриота и гражданина. Только вот упрямо грассировал.

– Приходит еврей устраиваться диктором на радио, – рассказал по этому поводу Анекдот. – Букву «Р» не выговаривает, акцент местечковый. «К сожалению, не подходите», – сообщают ему. «И тут антисемитизм?!» – восклицает еврей.

Отец ничего подобного воскликнуть не мог: он был уверен, что антисемитизм, как и все плохое, в Советском Союзе отсутствует. На этот счет у него не было комплексов.

Но одним душевным недугом отец все же страдал. Он мученически любил маму. И втайне мечтал, чтоб она, оставаясь такой же красивой, какой была, и такой же покорно женственной, в присутствии мужчин волшебным образом становилась бы невидимкой и ее очарование было бы видно ему одному. Благодаря молитвенно иудейской маминой красоте и отцовской рязанской внешности, наше семейство выглядело вполне интернациональным.

Отец измучивал себя ревностью, хотя для нее, как его уверял Анекдот, не было никаких причин. Уверять-то он уверял, но не вполне убедительно. Будто и сам испытывал некоторые опасения.

– Если женщина очаровательна, не думай, что ты первый это заметил, – сказал он отцу.

Зачем? Невидимкой мама, вопреки желанию отца, не становилась. Это было для его ревности «суровой действительностью».

Краска не касалась маминых губ, щек и ресниц. А ее волосы

не пользовались услугами парикмахеров-мастеров. Все это придавало маминому лицу иконописную первозданность, а отцовской ревности – дополнительную необоснованность.

Фронтovou готовность к отпору могло вызывать лишь то, что мужчины – по-моему, все встречавшиеся на мамином, по-женски победоносном, пути – видели в ней не приятельницу, не папину жену и не нашу маму, а раньше всего и «позже всего» – женщину. Мужчины не скрывали этого из-за невозможности скрыть. Иные – особо самоуверенные – принимали внешнюю мамину робость за доступность, но вскоре ушибались, наталкиваясь на свое заблуждение.

Еврейский Анекдот, мне чудилось, сознательно не позволял отцу, как говорили в ту пору, притуплять бдительность. Но использовал он, как обычно, свои методы и приемы.

– Однажды собрались четыре подруги, – принялся он рассказывать очередной анекдот. – Самая красивая из них говорит: «Вчера я взяла да и рассказала мужу обо всех изменах, которые совершила за нашу с ним совместную жизнь!» – «Какая смелость!» – восхитилась одна. «Какая наглость!» – возмутилась другая. «Какая память!» – воскликнула третья.

Удовлетворенный нервной отцовской реакцией, Абрам Абрамович добавил:

– Это не еврейский анекдот, а общечеловеческий. Он имеет отношение к женам и мужьям вне зависимости от их национальности.

Приехав с фронта на недельную побывку – получать Золотую Звезду, отец, видимо, задумал нагрузить маму сразу тремя детьми, чтобы ни на что, кроме них, у нее не осталось времени. Задумал – и, поддержанный ревностью, осуществил.

Отец ушел на войну добровольцем, но уходить с войны добровольцем он не хотел – особенно же в дни самых последних и отчаянных схваток. Его, однако, вызвал к себе командир дивизии и приказал:

- Сегодня же улетишь в Москву!
- А куда я должен явиться?
- В родильный дом!

* * *

– Это я дал телеграммы, – сообщил главный врач роддома, как только отец возник впервые на пороге его кабинета.

- Телеграмму, – по-военному уточнил отец.
- Нет, именно три: командующим дивизии, армии и всего фронта.

А как же! Страна должна знать не только своих героев, но и их детей. Тем более если они рождаются по-фронтовому: плечом к плечу!

– Многие наловчились рассуждать о фронте вдали от него, – беззлобно обобщил Анекдот.

Именно главный врач, которому сообщили, что у мамы в животе бьются одновременно три сердца, оповестил об этом не одних командующих, но и чуть ли не все средства массовой информации. При посредстве этих средств он хотел сблизить с героями-победителями не только маму, но и свой родильный дом, и себя самого.

Цель была, средства для ее достижения были – и вдруг вместо первоначальной единогласной готовности воцарились единогласная тишина и глухое молчание.

Мама, умевшая принимать на себя чужую вину, извинялась перед отцом, перед Еврейским Анекдотом, перед акушером Федором Никитичем и перед всеми, кто появлялся в ее палате.

– Семейное торжество не должно становиться общенародным. Это было бы нарушением законов природы, – сказал Федор Никитич, рано поседевший от чужих страданий и так уставший бороться с маминой физической болью, что еще, казалось, не преодолел своей боли душевной.

Главврач в палате не появился.

Отец же не уставал объяснять происшедшее глобальными обстоятельствами:

– Это понятно. – Он обладал способностью объяснять необъяснимое. – Взяли рейхсканцелярию... При чем тут я и мои дети?

– Да еще все трое – Певзнеры! – добавил Абрам Абрамович.

– Ты опять о своем?! – вскипел отец, который, повторюсь, вскипал прямодушно, как чайник, но исключительно на политической почве. – Мне дали Героя? Дали. Где же твой антисемитизм?

– Ты, я понимаю, должен сказать спасибо за то, что *они* дали тебе Героя? А не *они* должны испытывать благодарность за то, что ты проявил героизм?

– Многие проявляли. И учти: из всех, кто был в батальоне, командир выбрал в ту ночь меня. И послал.

– На верную гибель?

– Именно мне доверил...

– Умереть? Ты, правда, не полностью оправдал его ожидания: спас батальон... но и себя тоже.

– Зачем ты так говоришь?

Если определение «честный до глупости» может существовать,

оно относилось к отцу.

– Зачем ты так?! – повторил он, оскорбляясь за своего командира. – Он послал меня потому, что...

– У вас в батальоне был еще хоть один еврей? – перебил отца вопросом Еврейский Анекдот.

– Нет... больше не было.

– Может, не из кого было выбирать? – с печальной иронией констатировал Абрам Абрамович. – Не хочу сказать, что это типично. Но в данном конкретном случае... Ты же знаешь, что к званию Героя командир, тобою спасенный, представлять тебя не хотел. А зачем? Быть обязанным своей жизнью еврею?

Поскольку в устах Абрама Абрамовича все звучало как анекдот или полуанекдот, всерьез возражать было глупо. Но мой принципиальный отец решил все-таки сокрушить точку зрения лучшего друга:

– Ты знаешь, какую часть населения у нас в стране составляют евреи?

– Чем больше, тем лучше... для юдофобов: есть на кого валить. Не дай Бог, евреев когда-нибудь не останется вовсе. Придется импортировать! Пусть немного... Зачем же хоть одну государственную вину брать на себя?

– Их мало! Евреев... – будто раскрывал тайну отец. – А по количеству Героев – на одном из первых мест.

– И чья же это заслуга! Тех, кто их награждал?

Отец растерялся. И, как до золотой рыбки, от которой ждал подмоги, привычно дотронулся до своей Золотой Звезды.

– Но ведь награждали!

– А если бы награждали всех, кто заслуживал? Вот был бы скандал. Исторический!

– Я не согласен, – безапелляционно, но и бездоказательно отпасовал отец.

– Давай-ка я для разрядки расскажу анекдот, – прибег к своему излюбленному приему Абрам Абрамович. – Воздвигли памятник: «Неизвестному солдату Рабиновичу». Все удивляются: «Как это так? Неизвестному и... Рабиновичу?!» – «Дело в том, – объясняют, – что неизвестно, был он солдатом или нет». А оказывается – на одном из первых мест? Значит, известно: был!

При звуках маминогo меццо-сопрано, грудного и глубокого – «Ей бы Аиду петь!» – мужчины специфически цепенели. Говорила она негромко, но, так как отец и Еврейский Анекдот в эти мгновения не просто умолкали, а как бы и не дышали, меццо-сопрано усиливалось окружающей тишиной.

Вакуумная тишь возникла и тогда, когда мама предложила, чтобы нас с братом назвали именами двух дедушек, а сестру именем одной из двух бабушек. Мама никогда не повелевала – она высказывала пожелания. Для отца же ее слова звучали, как военный приказ, и не командира батальона, дивизии или армии, а командующего всем фронтом. Но, разумеется, не Верховного Главнокомандующего, потому что Верховный был один.

Еврейский Анекдот, тоже привыкший маме внимать, неожиданно возразил (со временем я понял, что он никому беспрекословно не подчинялся):

– Не нагружайте жизнь своих детей дополнительными и необязательными сложностями. Не обременяйте их понапрасну, если бремени можно избежать.

Лучший друг нашей семьи был прав, потому что дедушек звали Самуилом и Исааком, а бабушек – Рахилью и Двойрой.

– Знаете, есть такой анекдот... – решил прибегнуть к своему смягчающему или отвлекающему маневру Абрам Абрамович. – Везут труп Рабиновича. «От чего он умер?» – «Видите ли, вчера мы играли с ним в одну смешную игру: кто дальше высунется из окна? Так он выиграл!» – Помолчав, чтобы мама с отцом посмеялись и поразмыслили, Анекдот продолжал: – Говорят, лучше всех устроился тот, кто лучше всех спрятался. Прятаться не обязательно. Но и высовываться сверх меры не следует. – Гармошка из морщин собралась на лбу у Абрама Абрамовича. Он напрягся, чтобы придумать нечто, не противоречащее маминому предложению, но и не осложняющее жизнь новорожденных Певзнеров. – Возьмите лишь первые буквы имен. Как символы! Ну вот, к примеру... – Анекдот коснулся пеленки, из которой, как из кокона, выглядывала сестра. – Ее назовите на букву «Д». Не Двойрой, разумеется. Зачем такие крайности?

– Дарьей! – предложил мой прямолинейный отец.

– Также слишком, – возразил Анекдот. – А впрочем... Почему бы и нет? Бросим вызов! Дарья, Даша... Нежно звучит. Вы не против? – обратился он к маме, которую называл на «вы».

– Даша? Мне нравится, – ответила мама.

– Значит, принято. Его имя, – Анекдот кивнул на брата, – пусть начинается с буквы «И» в честь дедушки Исаака. Какие есть безопасные имена на эту букву? Иваном нарекать не обязательно. А Игорем, я думаю, в самый раз.

– В самый раз, – повторила мама. Это означало, что повторил и отец.

– Остался еще один. – Он имел в виду меня. – Пусть будет не Самуилом, а, допустим, Сережей. Тоже неплохо. И поверьте: дедушкам и бабушкам от этого хуже не будет. А им, – он обвел взглядом нас троих, – увы, будет лучше!

– Почему «увы»? – удивился отец.

– Потому что приходится думать на эту тему. – Собрав на лбу гармошку с такими густыми и глубокими складками, что, казалось, она вот-вот заиграет, Анекдот добавил: – Да, дедушкам и бабушкам хуже не будет... Хуже того, что с ними стряслось, вообще не бывает! А *этим* хоть немножечко подсобим. Тем более *эти* только стартуют, а *те* разорвали ленточку финиша. Точней сказать, ленточку, как и их жизни, разорвали другие.

Они финишировали во рву одесского гетто. Ни бабушками, ни дедушками они по возрасту не были: старшему из них, папиному папе, едва исполнилось сорок семь.

Я стал Сережей. Хотя чаще меня, унаследовавшего рязанскую отцовскую внешность, звали Серегой.

Выслушав Анекдота, отец вопросительно воззрился на маму.

– Раз будет лучше... – устало подвела итог мама. Она согласилась.

– И я согласен! – будто командующему, подчинился отец. Наши имена были окончательно утверждены.

Мы трое, как я уже сообщил, родились в один день и один час. Поэтому многое в нашей жизни и после шагало как бы нога в ногу. В школу мы тоже отправились вместе. Нас зачислили в один и тот же класс, к одной и той же учительнице.

Мария Петровна была за единение разнополых детей: таким образом, я оказался рядом с Дашей, а Игорь за нашей спиной.

– Умоляю: не становитесь первыми учениками все трое, – сказал накануне в шутку, мне показалось, Абрам Абрамович. Позже я понял, что он не шутил. – *Блестяще* пусть учится кто-то один. Если вы заблестите одновременно, вам этого не простят.

Еврейский Анекдот зря беспокоился: нам с Игорем первенство не угрожало. Зато Даша немедленно, без разбега стала не только первой ученицей в классе, но и первой красавицей.

Мария Петровна забеспокоилась.

– Нельзя, чтобы девочка в ее возрасте ощущала себя примадонной, – объяснила она нашим родителям. – Тогда у нее будут поклонники, но не будет подруг. – Мария Петровна выступала за единение не только

разнополых, но и однополых детей. – Если все мальчики станут замечать одну только Дашу, девочки сочтут это несправедливым. А чувство несправедливости... Сами знаете!

Мама, настрадавшаяся из-за своей внешности, папиной ревности и притязаний мужчин, чьи однотипные взоры не оставляли ее в покое, понимающе вздохнула. Она не хотела, чтобы и Дашу ждала та же участь. Мама одобрила стремление учительницы распределить мальчишечью любовь поровну между всеми ученицами. Во имя равенства и справедливости!

Родители Дашиных поклонников – особенно же мамыши – тоже весьма всполошились. Не все разобрались, что я Дашин брат. И потому одна из родительниц, краснощекая, раскачиваясь из стороны в сторону, как неваляшка, вздутыми бедрами, начала поучать своего сына, а заодно и меня:

– У этой вашей Даши Певзнер очень уж типичная внешность. Ну не наша. Чужая какая-то! Вы понимаете? – Я подметил, что почти все взбудораженные родительницы непременно прибавляли к Дашиному имени фамилию Певзнер: без фамилии имя могло кого-нибудь сбить с толку. – Другие девочки мне, например, больше нравятся. Ну что в ней такого? Волосы будто в саже, нос тонкий... – Этот эпитет показался мамаше выгодным для моей сестры, и она скорректировала: – Какой-то худой... Тощий нос!

– А должен быть толстым? – спросил ее неразумный сын Коля.

– Нормальным должен быть. – Мамашины щеки еще жарче окрасились лихорадочным цветом. – Я бы вот никогда не могла влюбиться в нее!

«Было бы странно, – подумал я, – если б она в Дашу влюбилась!» Недоумение обнаружилось у меня на лице.

– Никакая она не красавица! – по-матрешечьи покрываясь уже разноцветными пятнами, базарно провозгласила мамаша. – Не красавица... Прикажете своим мозгам это понять.

Приказать мозгам ее сын Коля мог, но сердцу, видимо, нет. И в течение долгих лет... Тогда она, исчерпав терпение, выступила на родительском собрании. Мы, помню, уже заканчивали шестой класс.

– Даша Певзнер отвлекает наших сыновей. Один за другим... они становятся ее жертвами. Моего сына как подменили! Он осунулся, побледнел. И другие мальчики болеют той же болезнью. Надо что-то предпринимать.

– Запретить Даше быть умницей и красавицей? – внезапно удивилась Мария Петровна, которая всегда выступала не только за единение,

но и за справедливость.

– Никакая она не красавица! – взъярилась родительница так, будто тринадцатилетняя Даша соблазнила ее супруга.

– Красивая... Ничего не попишешь, – возразила справедливая Мария Петровна.

– Тем более надо оберегать сыновей! – словно речь шла о провисшем над головой потолке или о нарушении правил уличного движения, подключилась другая мамаша.

Ни тогда, ни позднее уберечь сыновей от Даши родительницам не удавалось.

– Вот жидовка! – в бешенстве швырнула однажды вслед Даше одна из них, сбитая с толку моей рязанской внешностью. Хоть мы были уже в седьмом классе.

– Можно ей передать? – спокойно осведомился я.

– Как передать? В каком смысле?!

– В прямом... Мы с ней близнецы.

– Близнецы? Вот бы не сказала. Совсем не похож. Ни на нее, ни вообще... – делая мне комплимент, проговорила мамаша.

Я действительно был похож на русоволосого, курносого папу. И уже не впервые подумал, что с внешностью мне повезло.

Ну а Дашина внешность была столь впечатляюще красноречива, что в словесном красноречии сестра не нуждалась. Однако она, молчаливая, способна была, как и мама, на оглушительные поступки.

Так как все тайное становится явным, сестра узнала о родительском собрании – и властно созвала другое экстренное собрание: всей мужской половины нашего класса. Презрительно поглядывая на влюбленных, она сказала:

– Передайте своим родителям, что мне среди вас кое-кто дорог. – В один миг почти осязаемо возникла атмосфера враждебности: каждый знал, что дорог не он. Но кто же? Помытарив нервы своих поклонников, которыми были все поголовно, кроме Вовы Дубилина, не отличавшего месяца от луны, а хамства от деликатности, Даша, не напрягая голоса, произнесла:

– Мне дороги из вас только двое: Сережа и Игорь, мои братья. Так и сообщите родителям: пусть спят спокойно.

Каждому полегчало: хоть не он... но, по крайней мере, и не другой!

У мамы и Даши было одно и тоже редкое качество: они все на свете умели. Или почти все. Это свойство фамильным не было,

оно отсутствовало у тех членов семейства, которые составляли абсолютное большинство. Количественное, разумеется, ибо качественное – если б такое существовало – принадлежало бы маме и Даше.

Обе они умели петь, танцевать, при пустом холодильнике за пятнадцать минут приготовить ужин, шить, вязать и чинить электропроводку... Легче перечислить то, чего они не умели. Но и этому могли б научиться, если бы захотели.

Они ни во что не вкладывали натужных усилий, а лишь – искусство, сообразительность и изящество.

Иногда устаешь даже наблюдать за работой, в которой сам не участвуешь. Со стороны она выглядит до того изнурительной, что на лбу твоём выступает испарина. Наблюдая же за мамой и Дашей, мы, неумелые, как бы присутствовали на спектакле, не обремененном сложным, лабиринтным сюжетом, а завораживающим и балетно-воздушным.

Мама так перебирала струны гитары, что звук казался ненужным: достаточно было следить за ее пальцами, чтобы услышать музыку, извлечь удовольствие, а мужчинам – позавидовать папе.

Все совершалось как бы само собой. Они *делали*, а мы, мужчины, об этом рассказывали соседям, знакомым – и восторгались.

Особенно восторгался отец: у мамы не оставалось времени ни на что, кроме дома.

Даша, которую называли хранительницей домашнего очага, искусно составляла дуэт: одаренность и артистичность не покидали ее. Но в дуэте она продуманно была вторым голосом, чтобы не огорчать отца, который возлагал на мамину сверхзагруженность большие надежды.

Совсем уж поздними вечерами у мамы высвобождалось некоторое время – и Даша решила заполнять его развлечениями. Но в семейном кругу. Она знала такое количество стихов наизусть, что одними стихотворениями могла перекрыть маме дорогу из дома. А еще устраивались семейные танцы... Мама с Дашей танцевали «по последнему слову моды и техники», но и по-своему; отец – очень старательно, как на военных учениях, Еврейский Анекдот – не только с довоенными «па», но и с довоенной сентиментальностью, а мы с Игорем просто дурачились. Мы были Дашиными близнецами, но она уже в первом классе вела себя, как женщина, а у нас и в седьмом были манеры всего-навсего семиклассников.

Одним словом, Даша изобретала что только могла, дабы маму за порог «не тянуло». Отец взирал на Дашу с горячечной благодарностью: хоть

внешне и не похожа, а его дочь! С еле заметной благодарностью поглядывал на сестру и Абрам Абрамович. Эта елезаметность, однако, была заметнее голосистых братских восторгов. Я имею в виду восторг двух братьев.

– Поздравляю вас: к нам едет... нет, не ревизор, а посол Государства Израиль, – с порога произнес Абрам Абрамович. – Дипломатические отношения установлены.

Шутливой интонацией Еврейский Анекдот маскировал свою возбужденность: он был горд, что народ его имеет теперь свое государство.

Это происходило вечером в том году, когда мы трое были еще совсем маленькими. Воспоминания мои то забегают вперед, то назад возвращаются, как и положено воспоминаниям.

– Чего ты ликуешь? – настороженно полюбопытствовал отец, обращаясь к Еврейскому Анекдоту. – Один мой боевой друг-товарищ, – он любил фронтовые термины, – подал заявление на отъезд.

– Но мы же с вами не сделали этого.

– И не сделаем во веки веков! – заверил отец. – Покинуть землю, где родились? Здесь родились, здесь и умрем.

– С предсмертными возгласами «За Родину! За Сталина!».

– Не кощунствуй, ты сам кричал это.

– «За Родину!» – безусловно, «За Сталина!» – никогда.

– А для меня свято и то и другое. В неравной степени, но...

Для отца это было уже отступлением или некоторой растерянностью. И тогда Абрам Абрамович поднялся в атаку:

– Bravo! Хотя бы в «неравной». Осуждаешь своего «друга-товарища»? Я и сам не сумею расстаться. – Но ведаешь ли, Борис, что Декларация прав человека, которую мы со слезами... Со слезами радости подписали, утверждает: человек имеет право жить там, где захочет, если, конечно, он человек. Имеет право возвращаться домой и вновь уезжать. Иосиф Виссарионович же, бесспорно, считает, что Декларации декларируют, а исполнению могут не подлежать. Но вот кто-то начал официально подавать заявления: «Хочу уехать...», «Хотим уехать...» – «А почему? – голосом прокурора и судьи спросит их Иосиф Виссарионович. – Как можно покидать рай, который я для вас создал?» И придет время, помяните меня, придет, когда за такие вот заявления он будет давать «строгие режимы», «без права переписки...». То есть официально давать будет за диверсии, шпионаж и прочие злодеяния. Не придерешься! – Анекдот помолчал. – К Иосифу Виссарионовичу придраться в полной мере

вообще смогут только потомки: современники не отважатся. Да и трудно. На бумаге – все безупречно (даже за антисемитизм, оказывается, положена строгая кара!). И Конституция у нас фантастически демократическая: Калифорния от Америки попробуй-ка отделись, а наши республики, провозглашено, имеют немыслимые права, вплоть до абсолютного отделения. Но Иосиф Виссарионович знает: никто не востребует своих прав. Потому что если себя не жалко, то жалко детей, матерей, жен...

Абрам Абрамович жалел, мне кажется, всех людей. Но людей! А некоторых двуногих людьми категорически не признавал.

Мама молча смотрела на нас троих – и, наверное, думала о том, что нам предстоит.

Мне было всего два или три года, но Еврейский Анекдот вспоминал не раз о том вечере, как и обо всем, что случилось, а иногда и творилось в нашей семье.

Отец и не думал поднимать руки вверх:

– Сталин сделал так много...

– Зловещего! – закончил фразу Абрам Абрамович, вероятно совсем переставший бояться. – А в результате судьбы людей, как руины...

Не давая отцу опомниться, что тоже было его приемом, Анекдот предложил:

– Хотите, расскажу самую короткую притчу? «Сколько вам лет?» – спросил судья подсудимого. «Будет двадцать восемь», – ответил тот. «Не будет!» – сказал судья. Думаю, Иосиф Виссарионович бы до упаду смеялся!

– Зачем ты так? – продолжал сопротивляться отец. – Наоборот, в трудные моменты надо обращаться к *нему*. И *он* поможет, как помог всем во время войны.

– За помощью? К *нему*? Знаешь, есть такой анекдот... Двое пьяных – видимо, не евреи – ползут по железнодорожному полотну. Перебирают ногами шпалы, за рельсы хватаются... «Какая длинная лестница! – восклицает один. – Как много ступеней! А перила какие холодные!» «Ничего, – отвечает другой. – Видишь, к нам на помощь спешат трое с огромными фонарями?» Если ты ждешь такой помощи, то получишь!

Едва ли не каждый день Абрам Абрамович рассказывал хотя бы по одному анекдоту. И почти всякий раз анекдоты были прелюдией или финалом бесед о проблемах, которые бередили душу друга нашей семьи. Душа же его негромко, но и непримиримо, с не видимыми миру слезами и видимым юмором откликалась на все доброе и все злое,

что свершалось в стране. Злого, увы, было больше, и оно действовало активнее.

– Приходит еврей менять фамилию... – начал в один из вечеров лучший друг нашей семьи. – Приходит и просит: «Сначала поменяйте на Иванова, а потом – на Петрова». – «Зачем же два раза?» – «А затем, что, если меня спросят о бывшей фамилии, я отвечу: «Иванов». – Покашляв, как обычно, после историй, требующих осмысления, Абрам Абрамович сказал: – Я к тому, что нынче разоблачают космополитов и раскрывают их истинные фамилии, замаскированные псевдонимами. Днем с огнем ищут... Но с огнем жестоким и выжигающим.

– Что выжигающим? – спросила мама.

– Судьбы человеческие. И даже жизни... Это наше излюбленное состояние: никакой войны нет, а люди гибнут. За что? Во имя чего?!

Подобные разговоры Анекдот, как известно, предпочитал вести на свежем воздухе, где в голову ему приходили «свежие мысли». Но тут уж не мог сдержаться.

– В каждом издательстве и каждой редакции газеты или журнала должны среди авторов обнаружить хотя бы парочку космополитов. Желательно больше, но минимум парочку.

– А кто это такие... космополиты? – поинтересовался четырехлетний, но уже очень любознательный Игорь.

– Антипатриоты, – объяснил Анекдот.

– А кто такие антипатриоты? – не отставал Игорь, с трудом выговаривая длинное и непонятное слово.

– Ну, те, которые не любят свою Родину.

– Разве можно ее не любить? – удивился Игорь.

– Нельзя... Это запрещено! Но все мы и так, без запретов и без подсказок, любим ее. Любить под воздействием? Это же оскорбление для любви. Однако кое-кто сомневается, кое-кто нам не верит.

– Нам?! – Игорь обвел руками кухню, где находились мы с ним, тесно притершись друг к другу, мама и Абрам Абрамович, на полтуловища переместившийся в коридор. Отец ушел с Дашей в драматический кружок, где сестра в каком-то самодеятельном спектакле играла четырехлетнюю девочку, то есть себя.

– В нашем медицинском издательстве тоже поискали и нашли одного антипатриота. Пока одного... – сообщил Анекдот. – Талантливого биолога разоблачили. Неталантливых, я заметил, у нас не трогают. Он книгу написал в защиту русской природы. Русской... а сам еврей. Подписался – «Савельев», но выяснилось, что он – Фельдштейн Зиновий Савельевич.

Стендалю можно было взять псевдоним и Лескову можно, а Фельдштейну – нельзя. Они псевдонимами подписывались, а он под псевдонимом «скрывался». Как уголовник... Я начал, конечно, его оправдывать. Мне отвечают: «Он оклеветал нашу экологическую среду. Пусть сам придет и оправдается!» Но он не может прийти.

– Не может? – переспросила мама.

– У него нету обеих ног.

– Как... нету?

– Потерял их на фронтовом Ковельском направлении. С миной столкнулся. А теперь подорвался на другой mine и на другом направлении.

– На каком? – продолжала, замирая, интересоваться мама.

– На антисемитском... Весьма модный фронт!

Хорошо, что дома не было отца: он бы сталинскую власть стал защищать.

– Меня обвиняют в том, что помог издать эту книгу. По знакомству, конечно! Мы с ним в самом деле познакомились не вчера. А восемь лет назад... в госпитале. Мне ампутировали руку, а ему ноги. Приятели... по несчастью. Есть за что обвинять!

– Нереально! – сказала мама.

Но ее «нереально» было равнозначно слову «кошмар», а не слову «неправда».

Мама, которая на сей раз была избавлена от своего долга поддерживать мужа, поскольку он отсутствовал, поддерживала нешумливое, ироничное негодование Анекдота. И после часто вспоминала о том вечере, где была не «боевой подругой» отца, а просто сама собой.

– Да, антипатриот без двух ног, – со скорбной улыбкой не переставал негодовать Анекдот. – Точней, без обеих! Фельдштейны, по мнению газеты, разоблачившей антипатриота-фронтовика, не имеют права защищать нашу природу. Фельдштейны, как нам объяснили, землю лишь отравляют. В том числе и своей кровью, пролитой на этой земле.

Мама мимолетно, но с опаской взглянула на входную дверь, которую было видно из кухни: вот-вот должен был появиться отец и выразить убеждение, что просто так антипатриотом назвать никого не могут.

Окончательно я осознал, что мне повезло с внешностью, когда мы трое еще не успели стать школьниками. Это был незабываемый для евреев год... До того времени «врагами народа» не становились по национальному признаку, и «дело врачей» внесло в эпопею разоблачений некоторое разнообразие. У обвиняемых была одна и та же

профессия – врачи, почти у всех одна и та же национальность – евреи, одно и то же призвание, одна непреодолимая страсть – убивать. Но убийцами они именовались не какими-нибудь, а исключительно «в белых халатах».

Отец окончил мирное терапевтическое отделение медицинского института. Но так как Героем он был не только по званию, а и по характеру, то назначение получил туда, куда никто, кроме него, не рвался, – стал заведующим лабораторией, где испытывались смертоносные, устрашающие вакцины: античумные, антихолерные... Получается, он сразу же приобщился к сражениям. Такая была натура!

Добровольцем на фронт отец записался, конечно, не на второй день войны, а в ее самый первый день. Природный героизм не позволил ему обождать. Направили его заместителем начальника госпиталя.

Госпиталь располагался вдали от передовой, но отец, родившись Героем, согласиться с этим не пожелал. Он мог находиться лишь там, где непрерывно требовался его героизм. И стал пехотинцем. Мама покорно не отговаривала...

Покорность может и повелевать, если это черта женского обаяния. Мамину покорность можно было назвать и преданностью отцовской натуре. Она сумела бы поломать чрезмерную тягу отца к опасностям, к риску. Но стать разрушительницей отваги себе не позволила. Бракосочетавшись с отцом, она навсегда осознала себя не просто женой, а женой Героя. Сперва с обыкновенной, маленькой буквы, а впоследствии и с заглавной. Мама, я думаю, и полюбила отца не за притягательность внешности, которая, безусловно, была, не за яркие дарования, которых, кажется, не было, не за высокий ум, который тоже особенно не выпирал, а за верность и мужество. Верней сказать, за характер.

Позднее я понял: если мужество способно вызывать лишь восхищение, то верность – иногда восхищение, а иногда раздражение. И даже протест. Отцовская верность маме была залогом нашего детского счастья: мы трое знали, что «личные» конфликты и бури, сотрясавшие и даже уничтожавшие другие семейные очаги, к нам в дом ворваться не могут. А вот отцовская верность раз и навсегда обретенным взглядам наш дом сотрясла. В том самом году...

История с «белыми халатами» захотела быть в «белых перчатках». И тогда кто-то придумал, чтобы одних евреев в белых халатах обличили другие евреи в халатах того же цвета. Истинная белизна должна была сокрушить обманную. Папа был истинной. Да еще с Золотой Звездой!

– В жмурки можно только играть, – сказал Еврейский Анекдот. – Но нельзя, зажмурившись, жить.

– Когда играют в жмурки, глаза не зажмуривают, а завязывают, –

объяснила мама, поняв, куда Анекдот клонит, и заранее обороняя мужа.

Помню, ночами отец в кителе без погон и со Звездой на той стороне, которая ближе к сердцу, расхаживал по квартире. У нас были две крохотные комнаты и кухня, в которой могли уместиться либо мама с папой, либо мы втроем. А вместе не умещались... Поэтому отец, точнее сказать, не расхаживал, а метался туда-сюда: на малом пространстве возникает ощущение загнанности.

Он и был загнан... Хоть никогда – кто бы ни загонял! – не предъявил бы обвинение тем, в чьей вине не был уверен совершенно и до конца. Что названные убийцами и были убийцы, отец не сомневался. Но все же требовать казни, расстрела – а именно этого ждали от него, еврея-Героя и медаленосца! – он не решался. Фронтовой китель и Золотая Звезда призваны были взбодрить отца, подвигнуть на нечто чрезвычайное, укрепить убеждение в неколебимой справедливости предстоящего ему дьявольского броска.

Сатана – в планетарном масштабе – прежде, как известно, был ангелом. И наловчился выдавать свои сатанинские игры за ангельские, привораживая обманом и тех, в ком неразлучимы были отвага с доверчивостью.

Накануне того – казалось, непостижимого для него! – шага отец делал сотни, а может, и тысячи шагов по квартире. Чтобы нас не будить в ночи, не тревожить, он передвигался по кухне и нашему микрокоридору в тапочках. Бесшумность его метаний нагнетала дьявольскую загадочность. В неестественном сочетании тапочек с торжественным кителем и Звездой можно было ощутить нечто комичное, но ощущался трагизм. И мама время от времени одними губами спрашивала:

– Может быть, ты присядешь?

– Да, да... Я сяду, – обещал ей отец.

И продолжал свой крестный путь к тому, по-мефистофельски навязанному, поступку.

– В некоторых странах, я слышал, смертной казни вообще нет? – предвидя падение и пытаясь за что-то ухватиться, спросил Анекдота отец.

– И у нас могут отменить... Но только в том случае, если решат казнить каждого третьего.

– Почему ты так не любишь... всю нашу землю? – уже как бы с другой стороны решил защититься отец.

– Землю я люблю всю. Но не всех, кого она родила, – с печалью полного откровения произнес Анекдот.

– Ты не веришь людям.

– Это *тебя* заставляют не верить.

– Нелюдям... А не людям! – опершись на тапочки твердо, как на каблуки военных сапог, ответил отец.

И даже я, хоть мне минуло всего-то семь лет, понял: он на что-то решился.

А на завтра, ближе к вечеру, мне показалось, что черная радиотарелка еще более почернела. Она заставила маму и нас троих безмолвно прижаться друг к другу.

– Говорит Герой Советского Союза Борис Исаакович Певзнер!

И сразу же голос отца, чем-то отделенный от него и принадлежавший не ему, а сатанинской затее, выдаваемой за необходимость и ангельскую сверхцель, зазвучал поверх наших голов, и всей нашей квартиры, и всего нашего дома.

Помню только, что отец присоединялся к «миллионам негодующих», требовал, «как и они»...

– Во гневе нельзя присоединяться, – в тот же вечер, но уже поздний, сказал ему потрясенным шепотом Абрам Абрамович. – Гнев должен быть индивидуальным. К добру присоединяться можно... Это никому не грозит. А гнев толпы? – Он потер пустой рукав, окунувшийся в карман пиджака, будто ощущая отсутствие правой руки, которая могла бы ему помочь. В драматичные или конфликтные минуты он всегда вспоминал о ней. – Да-а... Еще раз я убедился: в обыденную, мирную пору проявлять мужество труднее, чем на войне.

– Как раз в то время люди возвращались с работы и мало кто слушал радио, – полувопросительно, отыскивая надежду, произнесла мама.

– Не обольщайтесь: это услышал весь мир, – с еле уловимой, но и непостижимой для него резкостью ответил Анекдот.

Непостижимой потому, что отвечал он на *мамину* фразу. Хотя резкость адресовалась отцу, которого мама исподволь начала защищать.

– Я же говорил, что сначала Иосиф Виссарионович признает Государство Израиль, даже поддержит его – чтобы придаться было нельзя! – а затем накинёт удавку на шею дочерям и сынам израилевым, живущим в его стране. Что-нибудь иезуитское он должен был для этого выдумать. Вот и пожалуйста...

– Подобное придумать нельзя! – как Герой готовясь перейти в наступление, заявил отец.

– Однажды, на фронте, ты вырвался из фашистского окружения. Но *свои* нацисты страшнее чужих: из их окружения ты не выбился.

– Как можно сравнивать?!

– В сравнении познается истина.

– Но не в таком... – холостым патроном стрельнул отец.

– «Чтобы в ложь поверили, она должна быть чудовищной!» Сию «мудрость» Гитлер и Геббельс то исподволь, то оглашенно заталкивали в послушные головы.

– Зачем сравнивать? – опять бесцельно прозвучал холостой выстрел. Но я почувствовал, что отцовские убеждения готовят себя к атаке. – Если врачи способны? Врачи! Трудно себе представить...

– Не надо насиловать воображение. И представлять себе то, чего быть не может, – посоветовал Анекдот.

– Народ верит. А его не обманешь!

– За народ не высказывайся.

– Я слышал... От очень многих!

– Что поделаешь? Мы раздавили гитлеризм, заразившись при этом одной из его неизлечимых болезней. Парадокс!

– Что ты хочешь сказать?

– То, что сказал... – После паузы Анекдот вновь произнес потрясенным шепотом: – Как ты теперь выйдешь на улицу?

– Я выйду с ним, – промолвила мама. – Мы выйдем вместе.

Отец был Героем, а мама – женой Героя.

Есть такое выражение – весьма неточное – «оборвать телефон». Ведь если телефон действительно «оборвут», он станет немым. У нас же звонки словно бы догоняли друг друга круглые сутки. Чтобы выразить свою солидарность с отцом, звонили и по ночам. Ночная солидарность призвана была доказать, что от волнения перепутала время суток.

– Вот видишь! – обратился отец к Анекдоту столь уверенно, что уверенность его вызывала сомнение. Точней было бы, конечно, сказать: «Вот слышишь!» Потом он повернулся к маме: – Мы с тобой можем выйти на улицу.

– Если бы любовь так же объединяла людей, как объединяет их ненависть, – с ироничной грустью произнес Анекдот.

Продолжая по профессии оставаться врачом, отец сражался с чумой и холерой так наступательно, будто они угрожали городу, государству и непосредственно нашей семье. Ничего подобного не происходило... Но его бесстрашие выискивало «горячие точки», где можно обжечься и даже погибнуть. Руководителем лаборатории, которым он был до войны,

отца не назначили, а утвердили заместителем.

– Привыкай к тому, что, если даже человек нашей национальности является практически первым, он должен считаться вторым. Предпочтительней, разумеется, третьим или четвертым... Но выше второго места для него заняты, – объяснил Анекдот.

– Зачем такое нагромождать? – возразил ортодоксальный отец. – Руководитель уже есть... Не гнать же его!

– Им повезло, что он есть: отказать Герою было бы сложно. Но что-нибудь они бы изобрели!

Анекдот остался при своем мнении. Это было вскоре после Победы. Вспоминая, я по-прежнему то забегаю вперед, то возвращаюсь...

А в тот день Абрам Абрамович и его несогласие с отцом молча объявили перемирие. При маме спорить было бессмысленно: она сразу, не расставаясь с внешней покорностью, становилась на защиту отца – и Абрам Абрамович вынужден был отступить. А в глобально значимых спорах он отступить не желал.

Поэтому и на гордое отцовское «Вот видишь!» ответа не последовало. Но позже, когда мама ушла к соседке, Абрам Абрамович привычно перемешал драматизм с юмором:

– Знаешь, есть анекдот... Идет коллегия министерства. И вдруг министр сострил. Все подобострастно захихикали. А один сидит и не смеется. Министр подходит к нему: «Что, не дошло?!» – «Нет, я из другого министерства». Так вот, я из другого министерства, Борис. И поддакивать вам не собираюсь.

– Но министерство-то очень большое: вся страна! – возразил отец.

– То высказываешься за всю страну, то за весь народ. Даже за свой народ, за еврейский, я бы лично высказываться не решился.

Но как раз от имени этого народа отца вскоре попросили высказаться. Еще раз...

Отцу позвонили из редакции газеты «Правда» и поздравили с успехом, о чем он сообщил нам без гордости, продолжая защищаться холостыми патронами. Абрам Абрамович потер пустой рукав пиджака и, воспользовавшись отсутствием мамы, сказал:

– Успех на крови? – Освобождаясь от гнева, он покашлял и добавил сочувственно: – Твоя лаборатория предотвращает чуму... А по-моему, чума набирает силу.

«Как повезло, – думал я позже, – что в те времена повсеместно прослушивали лишь телефонные разговоры, но еще не созрели

до широкомасштабного прослушивания квартир. По крайней мере, Героев Советского Союза!»

– Ошибаешься, – возразил Анекдот, когда я поделился своей успокоенностью. – Как раз квартиры Героев и прослушивались в первую очередь. Чем значительней была личность, тем меньше ей доверяли. Парадокс? Но парадоксальна и вся наша жизнь.

Еврейский Анекдот предпочитал вести подобные разговоры на «свежем воздухе». Однако все чаще переступал через это правило: пришлось бы целые вечера проводить на улице.

Вслед за поздравлением отца пригласили в редакцию самой главной газеты, созданной лично Владимиром Ильичем.

– Наверное, хотят, чтобы ты что-нибудь сочинил: присоединился к всенародному гневу письменно, – предположил Анекдот. – Сочинишь? Терять уже нечего.

– Им терять? Которые сами во всем сознались?

– Нет, тебе.

– Да они же сознались! – взвинчивая себя, повторил отец.

– Стало быть, ты имеешь право вынести им приговор? – Опять пользуясь отсутствием мамы, Абрам Абрамович не амортизировал юмором вернувшийся к нему гнев. – Никогда еще и ни в какие исторические эпохи не было так много судей! Самое же поразительное, что миллионы судей принимают одно и то же решение.

– Потому что другого не может быть, – с непоколебимостью ответил отец.

Абрам Абрамович не угадал: в редакции отцу не предложили что-либо сочинять, а попросили лишь подписать. До него уже расписались многие... И все, как один, евреи.

До последнего часа своей жизни отец не мог позабыть об этом.

В серокаменном, тяжело надавившем на землю здании отовсюду наступало на отца одно и то же слово из шести букв: «ПРАВДА».

– Правдой нельзя заклинать, – однажды сказал Анекдот, – ей нельзя удивляться. Ты сообщаешь: «Я видел на улице одетого человека». Вот если б ты встретил голого! Да-а, правду нельзя замечать. Как не замечают нормального воздуха. Если он становится ненормальным, опасным...

– Почему? – возразил отец. – Иногда восклицают: «Какой чистый воздух!»

– Это сигнал тревоги. И прежде всего для нас, для врачей. Ибо означает, что люди привыкли к воздуху загрязненному, а чистый

для них – событие. Пойми, если правдой гордятся, если за правду хвалят, значит, привыкли ко лжи.

В вестибюле отца встретили два руководящих деятеля еврейской национальности. Они были известны пуленепробиваемой ортодоксальностью, верноподданническим царедворством.

– Отрабатывают свой хлеб! – говорил Еврейский Анекдот. – Даже у Гитлера были «нужные евреи». Те уж старались пошибче нацистов! И евреям-политикам, которых *наш* выдвигает, руки подавать нельзя. Если *он* ради них перешагнул через свое юдофобство, то через что же перешагнули они?!

Два деятеля, как конвоиры, взяли отца под руки, ввели в лифт, вывели из него и проводили в кабинет главного редактора. Может, они боялись, что отец по дороге сбежит?

Самого главного в кабинете не оказалось, ибо там собрались только евреи. И все до одного – знаменитые! Новаторы производства, ученые, писатели, музыканты... Не хватало только Героя войны. И его привели.

Рассказывая об этом, отец всякий раз подчеркивал одну, быть может, второстепенную, но намертво вцепившуюся в его память деталь: никто из знаменитостей с ним не поздоровался.

– Такие интеллигенты... Но не кивнули даже.

Знаменитости и друг с другом совершенно никак не общались. Сидели на диване, на стульях вдоль стен, уставившись в никуда. Отца как бы и не заметили. Восковая, сероватая бледность покрывала их лица. А растерянность и крайнее напряжение проявляли себя в неподвижности рук. Пальцы так сцепились друг с другом, что, казалось, могло произойти замыкание и вспыхнуть пожар.

Передвигались только два руководящих деятеля и отец. Его подвели к столу... Посреди на зеленом сукне (можно было бы сказать, «как на поле», но с полем то сукно, хоть и зеленое, протестующе не ассоциировалось) – так вот, на зеленом сукне возлежал неестественно огромный двойной, или хищно двукрылый, лист. А на нем – текст и колонки фамилий, напечатанных типографским способом, будто вросших в бумагу. И еще подписи, истерично изрисовавшие второе крыло листа – параллельно, полуперпендикулярно, вкривь и вкось... Когда отец начал всматриваться в текст, крылья стали казаться ему все более зловещими, а подписи нарочито неразборчивыми. Та продуманная неразборчивость была трусливо-наивной: она расшифровывалась инициалами, фамилиями, набранными жестким шрифтом. Он был таким, что сомнения – даже в букве единой! – диктаторски исключались.

Согласно тексту, который отец, обладавший снайперским зрением, дословно прочитать не смог, новаторы, именовавшиеся тогда стахановцами, ученые и писатели, музыканты и режиссеры – все согласно и дружно, хоть в реальности стеснялись друг на друга взглянуть, – признавали вину еврейского народа перед другими народами и жаждали лишь одного: искупления. Оно, как понял отец, могло осуществиться только вдали от нашего дома, в Приморье, где расположилась автономная Еврейская область. Воссоединение с ее населением – а может быть, поселением – являлось, оказывается, целью жизни тех, кто собрался в казенно-барственном кабинете. Там, где отца с разных сторон гипнотизировало слово «ПРАВДА», будто высеченное из кремня. Исключительно вдалеке от родного города и родного дома могла быть, оказывается, обеспечена, гарантирована и наша полная безопасность, ибо народ всей страны, понял отец, возмущался так сильно, что готов был к действиям необузданным, непредсказуемым.

Затвердевшие на диване и на стульях вдоль стены знаменитости просили без всякой задержки, как можно скорее погрузить их в теплушки и отправить для воссоединения, искупления и спасения.

– Подпишите, пожалуйста, – мягко подсказал отцу один из руководящих деятелей, будто речь шла о каком-нибудь юбилейном поздравлении.

– Если, разумеется, вы согласны, – с ласковой демократичностью добавил второй.

И отец расписался. В чем? В доверчивости? Или в трусости, хоть от рождения был Героем? На это сейчас с достоверностью трудно ответить. Но только не в трусости! Окаменелая убежденность, я думаю, водила его пером. Но сквозь эту окаменелость пробилось странное изумление: неужели Гутенберг изобрел свой станок, чтобы напечатали со временем то, что он, отец, подписал.

При чем тут был Гутенберг? Но ведь и все остальное навалилось вопреки реальности и рассудку.

Обычно отцовская подпись «Певзнер» выглядела по-строевому прямолинейно и безоговорочно, как слово «Правда» в серокаменном здании. Но там, в этом здании и его особой важно-вельможной обители, отец расписался тоже с нарочитой неразборчивостью.

– Ты, значит, подписал прошение о депортации? – еле слышно, беспощадно комкая свой пустой рукав, сказал Анекдот.

– О чем? – переспросил отец.

– О депортации. Это тотальная, поголовная высылка. – Мамы не было,

и Абрам Абрамович мог не сдерживаться. – Сражаешься с чумой?.. А она все распространяется, перерождаясь в эпидемию. По-моему, ты борешься с какой-то не той чумой. Надо бы с нравственной, политической!

* * *

Тот спор не просто возник в моей памяти – он заныл в ней, как старая рана, когда я присел в одном из своих маршрутов на осеннем, но еще не поддавшемся медной окраске бульваре. Его имя – Нордау – казалось мне скандинавским... На самом краешке скамьи приспособилась старушка, сжавшаяся, хоть было тепло, от какой-то мысли, терзавшей ее, мне показалось, всю жизнь.

– Вы о чем? – бестактно задал я негромкий вопрос, потому что, мне чудилось, думали мы об одном и том же. То была мистика. Я, как обнаружилось чуть раньше, обладал способностью притягивать к своим мыслям чужие. Но все же не до такой степени, как выяснилось на той скамейке.

– Мужа моего англичане депортировали в Советский Союз, к Сталину... после войны. Как пленного. В лагере смерти у фашистов он выжил. Немцы в нем еврея не опознали. А в сталинском лагере доконали. За что? Он ведь попал в плен тяжелораненым, был в беспамятстве. За что же его? Я думаю об этом с сорок пятого года. За что я на свете одна? Детей у нас не было: он ушел на фронт прямо со свадьбы. Что плохого мы сделали Сталину, Гитлеру, англичанам? Депортация... За что я одна?

– Осторожно, – сказал я. – Вы же на самом краешке...

– Я там уже очень давно.

* * *

Абрам Абрамович учился вместе с отцом. Когда они были студентами третьего курса, состоялся исторический, как называл его впоследствии Анекдот, совместный «вечер отдыха» двух институтов – медицинского и педагогического. Отдых был таким безмятежным, что закончился дракой. Будущие медики, которым предстояло лечить людей, дрались с будущими педагогами, которым предстояло людей воспитывать. И только доблесть отца, который не побоялся разбросать в разные стороны будущих воспитателей и целителей, остановила свару, грозившую превратиться в побоище. Мама подошла к отцу, чтобы поблагодарить его, – и они взаимно влюбились: он – в неотразимую красоту, а она – в неотразимое мужество.

– Она его за смелость полюбила, а он – за то... – Анекдот,

перефразируя Отелло, закончил: – А он ее за то... за что бы каждый полюбил.

Абрам Абрамович тоже помог «бороться за мир», что было столь модно не только в масштабе вечера отдыха, но и в масштабе планеты. «Борьба» и «мир» – понятия противоположные. Но этого никто у нас как-то не замечал.

– Мы с тобой родились в результате драки, – сказал мне однажды Игорь. В той шутке была не доля правды, а полная правда и ничего, кроме правды.

Желая уточнить детали нашего грядущего появления на свет, я спросил:

– А из-за чего дрались?

Мама и папа не помнили. Но Абрам Абрамович объяснил:

– Из-за того, что кто-то пытался нарушить очередь.

– За чем? – спросил я.

– Не «за чем», а «на что»! На танец с вашей мамой.

Отец запоздало возревновал:

– Чересчур большая была очередь!

– Ну, ты-то был бы вне конкуренции и вне очереди, – успокоил его Анекдот. – Но ты не сразу заметил Юдифь: претенденты на танец ее заслонили. А я числился девятым. И до меня не дошло...

– До сих пор помнишь порядковый номер?

– А как же...

Почувствовав, что произнес это с излишней печалью, Абрам Абрамович свернул на свой испытанный путь:

– Знаете, есть такой анекдот... Стоит женщина на остановке. К ней подходит мужчина, вероятно еврей, и спрашивает: «Третий номер троллейбуса здесь проходит?» – «Проходит», – отвечает она. «А пятый номер?» – «Проходит». – «А седьмой номер?» – «Здесь проходят третий номер, и пятый, и седьмой, – отвечает женщина. – Но ваш номер не пройдет!» – Абрам Абрамович с той же грустью добавил: – Мой тоже не прошел... – И вновь спохватился: – Но твой-то номер, Борис, прошел! Хоть в очередь ты и не становился.

В институтские годы Абрам Абрамович, естественно, был более молодым, но не был менее мудрым. И посоветовал отцу незамедлительно сделать предложение нашей будущей маме.

– Каждый день промедления смерти подобен, – сказал Анекдот. – Ее уведут!

Отец кинулся в наступление, завершившееся взятием крепости

«Юдифь», которую пытались захватить многие. Но он оказался отважней и отчаянней других атакующих.

Еврейский Анекдот жил в одной из семи комнат коммунальной квартиры вместе со своей мамой, которая была приговоренно парализована. Всеми возможными и невозможными средствами он продлевал ее жизнь, парализуя этим свою личную. И постепенно привык быть холостяком. Мама, дождавшись, когда сын окончит институт, умерла. А привычка быть холостяком у Анекдота осталась... Тем более, что одиночества Абрам Абрамович не испытывал: он стал членом нашей семьи.

– Какая разница – Певзнер или Абрамович? – говорил он. – Для антисемитов – это одно и то же. И для меня, как ни странно!

По этой причине он обменял одну из семи комнат коммунальной квартиры на одну из девяти комнат другой коммунальной квартиры. Но зато на нашей улице.

А вернувшись с войны раньше отца, он, лишенный правой руки, взял в руки, как тогда говорили, «заботу о семье фронтовика», состоявшую из одной нашей будущей мамы. Она ждала мужа, глубоко запрятав страх и отчаяние. Сокрытая же взрывчатка гораздо опаснее той, которая на поверхности, видна и поддается контролю.

Через многие десятилетия – не могу вновь не вспомнить – я скажу умирающему Анекдоту:

– Абрам Абрамович, я не хочу прощаться... Вы не должны уходить... Вы так любите жизнь!

– Я любил вашу маму, – ответит мне он.

Сквозь страдания его, которые я угадаю, в глаза Абрама Абрамовича все же пробьется юмор, перемешанный с грустью.

– Есть такой анекдот...

Его голос ослабеет, но не утратит иронии.

Анекдот застынет у него на губах и в его глазах. В них застынут смех и печаль. Взгляд будет не мертвым – он будет остановившимся, но живым.

Или, может, мне все это покажется?

Когда прозвучало обманчиво плавное слово «депортация», будто имевшее отношение не к высылке людей, а к какому-то романтическому «порту», Абрам Абрамович сразу же припомнил анекдот. Но рассказал его хмуро, без юмористической интонации: «Вы знали Рабиновича, который

жил напротив тюрьмы? Так теперь он живет напротив своего дома».

Абрам Абрамович имел в виду не только нашу улицу, а все улицы и дома.

– Мне кажется, – продолжил Анекдот совсем уж не в анекдотической форме, – никогда еще... или почти никогда люди не предлагали подвергнуть пытке самих себя, или расстрелять себя, или казнить. А вы, Борис, попросили. Потому что вас попросили... Что ж, надо собираться в дорогу.

Мама плакала очень редко. И лишь от обиды. Из-за боли она не плакала. И никогда не молила о помощи. Даже когда мы с братом и сестрой, уступая, как уверял Анекдот, дорогу один другому, трое суток не являлись на свет.

Отец, я был уверен, плакать вообще не умел.

И вдруг в одно и то же утро мама уткнулась головой в диванный валик, а отец глухо закрыл руками лицо. Плечи их содрогались – неритмично, бесконтрольно. Я угадал, что они рыдают. Хотя никаких надрывных звуков не было. Они отчаивались молча, и это так меня потрясло, что я тоже заплакал.

До этого, в течение нескольких дней, мама и отец ждали. Затаенно и судорожно.

– Надо бы с ужасом ждать того часа, когда все мы – и ваши дети, поймите: и ваши дети! – должны будем погрузиться, как ненужный вредный товар, в холодные теплушки, слепые, без окон, на каких-нибудь тайных подъездных путях, – сказал Анекдот. – Ждать, как мы сами послушно, словно рабы третьего рейха, явимся для отправки на вечную ссылку. По твоей просьбе, Борис... А вы чего ждете? Отчего напряглись? Оттого, что заболел тот, который решил вас сослать? Но это ведь запредельная степень холопства!

Ничего подобного еще не бывало: Анекдот осуждал открыто и маму.

Но мама и отец его не слышали. Все их чувства и мысли уперлись в плотину ожидания.

– Плакать нужно было в тот день, когда Сталин родился, а потом причалил с кастетом и дубиной к каждому порогу каждого дома. Плакать же, когда он отчаливает? Что ж, значит, и другой может поступать с нами так, как поступал он.

Раньше Анекдот называл Сталина, как правило, Иосифом Виссарионовичем. В этом была насмешка. Но в тот час от шуток он был далек.

Мама и отец вновь его не услышали.

– В тридцать седьмом году был в ходу такой анекдот, – начал внезапно Абрам Абрамович.

– Сейчас не время для юмора, – думаю, впервые перебил, как обрезал его, отец.

– Ну почему же? Анекдотичность происходящего как раз соответствует... Одним словом, в незабываемом тридцать седьмом говорили: «Наш дом похож на автобус: половина сидит, а половина трясется». Из тех, кто сидел, почти никого не осталось. А те, которые тряслись, или их потомки сегодня рыдают, скорбят и, согбенные от горя, пойдут на похороны. Или в том числе и они.

– Вся наша семья будет с ним прощаться. И дети пойдут, – как фронтовой приказ, не подлежащий отмене, произнес отец.

– Это тот единственный случай, когда я не буду с вашей семьей. Ни буквально, ни в помыслах, – без вызова, а скорее печально произнес Анекдот. Он не осуждал отца и всех остальных – он их жалел.

А потом наступил день прощания. И мы впятером отправились в Колонный зал Дома Союзов. Путь пролегал через крутой спуск к Трубной площади и далее – по Бульварному кольцу, к Пушкинской улице.

– Пушкина так не хоронили, – произнес отец без осуждения этого факта, а как бы ставя вождя поэту в пример.

– Пушкина вообще, Боренька, вывезли из города ночью и тайно, – ни с того ни с сего уточнила мама.

Многое в те дни происходило в первый раз. Впервые умер Сталин... Впервые Абрам Абрамович откололся от нашей семьи. На время, но откололся... Впервые при нас, детях, мама пусть косвенно, не в упор, но возразила отцу.

Мы стали двигаться по узкому спуску, зажатому между домами и чугунной решеткой Рождественского бульвара. В непроницаемо тесном людском потоке мы перемещались как бы не сами – неостановимая масса людских тел, ожесточенно напиравших друг на друга, проталкивалась все дальше вниз, к Трубной площади. А потом движение закупорилось – и площадь неожиданно стала целью, достичь которую с каждой секундой становилось все невозможнее.

Крутой спуск был необычен для города, отличавшегося равнинным, а не гористым южным ландшафтом. Или природа пожелала напомнить нам, что мы хоронили горца? Сперва его смерть объединила тех, которые без какого-либо призыва или приказа собрались вместе. И стиснули от горя

не только зубы, но и свои ряды. Впрочем, зубы стиснули лишь фанатично мужественные, а другие омывали горем свои лица, обильно смачивали им пальцы, платки. Люди не могли представить себе, что бессмертный скончался. И так обыкновенно: какой-то сосудик в мозгу оказался сильнее его власти над всем и над всеми. Над всеми, кроме того сосудика... Огнепоклоннический трепет перед вождем требовал от людей убедиться, узреть собственными глазами, что они лишились главной своей опоры, защиты, гарантии небывало мощного и лучезарного будущего, в которое верили беззаветно.

Возник вроде бы коллектив совместно страдающих... По-разному, но совместно. И вдруг громоподобно-неожиданная опасность оглушила людей криками, свинцово сковала их движения – и разрушила коллектив общей скорби. Каждый устремился к собственному, индивидуальному спасению. Но устремился лишь мысленно, потому что и шевельнуться, как хотелось, не мог.

– Не расцепляйте рук! Не расцепляйте!.. – уверенно, возвращая нам надежду, повторял отец. Это тоже было приказом, выполнение которого обещало спасение.

Поток людей, сползавший вниз медленно и тяжело, как лава по телу вулкана, сковывала зажатость между домами и чугунной решеткой, но и страх, все определеннее перераставший в ужас.

– Не расцепляйте рук! – повторял отец.

И мы до нестерпимости сжимали друг другу пальцы.

Отец, как на войне, выработал какой-то тактический план, который мог оказаться стратегическим для всей нашей дальнейшей жизни. Он вытягивал нас из эпицентра человеческого скопления, где между людьми не было уже ни малейшего расстояния, все ближе и ближе к домам. Мы по миллиметрам вытаскивались отцом из каменной слитности тел, которая способна была сплющить, раздавить, уничтожить.

– Дашенька, держись. Держись, Дашенька... – просила мама сестру. Но я понимал, что это относилось и ко всем нам.

Из потока по-прежнему с нарастающим отчаянием пытались вырваться не только руки, ноги, плечи, но и голоса:

– Помогите! Спасите!..

Кто мог в этом скованном бессилии помочь кому-нибудь и себе самому?

Но нам помогал отец. И он вытягивал нас к воротам громоздкого, равнодушно недвижимого старинного здания. Все ближе, все ближе...

Мне стало ясно, совсем ясно, за что мама полюбила отца. И почему

была такой послушной ему.

Мы незаметно, но все же протискивались вслед за отцом по невидимому пространству, которое было единственной дорогой надежды. Отец выполнял задачу невыполнимую. Кто-то внезапно уперся коленом мне в пах, непереносимая боль приказывала опуститься, присесть на корточки. Но я мог двигаться только вбок – к воротам, к воротам... Туда с маниакальной, сумасшедшей решимостью тащил нас отец. Он вытягивал нас из беды, которая могла оказаться нашей последней бедой. А прижатость к чужим телам вот-вот могла стать прижатостью к смерти.

Я подумал, что многие люди, наверное, не сдавлены, а уже раздавлены, мертвы, но не в состоянии обнаружить свою гибель, не могут упасть, потому что стиснуты живыми телами. Или живыми и мертвыми.

Не помню, как чудодейственная сила спасения протащила меня между створами вечных старинных ворот. В одно мгновение тело мое высвободилось от физической сжатости. А душа освободилась от сжатости страхом лишь в следующий миг, когда я убедился, что мама и сестра с братом тут же, в старинном и потому просторном дворе. Но отца не было.

– Куда ты? Куда ты, Боря? – проталкивая слова, как проталкивались недавно наши тела, полушептала мама. – Куда ты?

Отец пробился к воротам первым из нас. Но и во имя нас... Поэтому сам прижался к заржавленному металлу, а нас пропустил вперед и стал вталкивать сквозь массивные ворота внутрь двора. Когда же наконец втолкнул, ворота под напором людского смятения, угадавшего отцовский план, захлопнулись с тупым звоном и скрежетом. Толпа стала плотней и плотней прижимать отца к ржавому металлу. А он, ухватившись за железные прутья и переплетения, подтянулся и полез вверх-вверх... Толпа пыталась вновь раздвинуть ворота, чтобы проникнуть в спасительный двор, где находились мы четверо, без отца. «Неужели навсегда?» – возникла у меня паническая мысль. Кому-то показалось, что отец забрался на ворота, чтобы сделать их нераскрываемыми, сковать их цепью, неплотно соединявшей чугунные створы. Подозрения рождали немедленные, лихорадочные действия. И руки, руки... обезумевшие руки стали озлобленно хватать отца за одну ногу, за другую, тянуть его вниз.

– Остановитесь! Остановитесь!.. – услышал я мамин вопль.

Она попыталась протиснуться назад, за ворота, на помощь отцу. Но мы, семилетние, вцепились в ее кофту, чтобы не остаться одним. Быть может, мы трусили, были эгоистичны. Но мы были маленькие, мы были дети. А обезумевшие руки все тянули отца обратно. Он вдруг оторвался от металлических переплетений, отпустил их. И – высокий, тяжелый –

начал, не сдаваясь, цепляясь за металл, падать туда, где была толпа.

Инстинкт самосохранения помог кому-то отпрыгнуть от ворот, хоть отпрыгнуть, казалось, было некуда, – и чудом образовался кусочек пустого пространства. Отец рухнул не на головы, а на асфальт, где в то мгновение возникла пустота.

– Они растопчут его... Растопчут... – проговорила самой себе мама.

Прильнув к воротам, она, всегда такая застенчиво-молчаливая, вскричала голосом, который принадлежал не ей, а неудержимому стремлению спасти мужа:

– Остановитесь... Остановитесь... Оставьте его!

Одной из примет большевистского общества была закрытость не только в глобальном значении, но и закрытость «по мелочам». Холуйское подражание «большой политике» часто действовало по инерции, без всякой выгоды для кого-либо и без малейшего смысла. Если, к примеру, в кинотеатре было пять дверей, то три из них неукоснительно запирались: оставляли лишь одну для входа и одну для выхода... «Обойдутся!» Возникали давки, которые считались нормальными и обязательными: они свидетельствовали о неудержимой тяге к искусству. Значит, какой-то смысл все же был?

Вот и старинные ворота взяли под уздцы цепью. Воротам на цепи не под силу было широко, до конца распахнуться, словно кто-то предвидел, что они могли спасти людей, но не хотел этого.

Каким-то снизошедшим на нее свыше усилием мама, робкая и хрупкая, немного, как и отец, раздвинула ворота, наполовину протиснувшись сквозь створы, которые могли, сомкнувшись, взять ее в безысходный чугунный плен. Но мама схватила за одежду отца и поволокла его к нам, в тот спасительный двор.

Я знал, что мама умеет все на свете. Но что она сумеет и это, я представить себе не мог.

Она волокла отца по земле силой своей преданности.

Других сил у нее не осталось.

Отец часто вспоминал, как его, контуженного взрывной волной, втащила в санитарный автомобиль медсестра. Она, наверное, влюбилась в него с первого и последнего взгляда. Последнего, потому что они ни разу более не встречались.

– Рязанский ты? – спросила она.

– Нет, московский, – ответил отец.

– Тогда уж мы с тобой не увидимся. Я рязанская...

– И вздохнула? Расстроилась? – будто противозаконно во что-то вторгаясь, спросила мама.

– Вздохнула, – не таясь, ибо таиться он не умел, ответил отец.

– И как ее звали?

– Ольгой.

– Сама назвалась? Или ты поинтересовался?

– Сама.

– Влюбилась, выходит...

– Почему?! Я ведь люблю *тебя*, – наивно опроверг отец.

– Неужели ты думаешь, она каждому сообщала свое имя? И вдобавок – откуда родом?.. – Внутренне помаявшись, мама виновато и даже покаянно склонила голову. – Если бы не та Ольга из Рязани, мы бы сегодня не были вместе.

– Поверь, Юдифь: сильнее тебя Борис любит только Советскую власть, – сказал Анекдот, то ли успокаивая маму, то ли подтрунивая над отцом. Подобные шутки были смертельно опасны, особенно не на «свежем воздухе». Но Абрам Абрамович, мне казалось, совсем лишился боязни смерти и испытаний, хотя и не считался героем. О том, что он потерял на войне руку, Анекдот невольно напоминал, лишь теребя в минуты напряжений пустой рукав. Восторгаться же своей фронтовой доблестью запрещал.

Отец частенько не знал, как реагировать на фразы Абрама Абрамовича. Но поскольку Ольга была мамой реабилитирована, позволил себе вспомнить:

– После контузии я не ощущал никакой боли. Только тело не подчинялось мне.

– Неподчинение в этой стране – самое опасное заболевание, – опять сочувствуя нам всем, произнес Анекдот. И хоть речь шла о войне, о контузии, в его полушутке не было цинизма: ведь он всех нас жалел. А страну, в которой мы родились и жили, всегда называл «этой страной», а не «нашей». Но Россию любил. Наморщив свой сократовский лоб, Анекдот вопрошал:

– Кто и когда объяснит: почему самая богатая природными и человеческими кладами – богатейшая! – страна живет, как бедная? Россия преподнесла миру наибольшее количество (простите за казенное слово!) гениев. Кто-то захочет поспорить? Я могу доказать. Подсчитал! Но это количество почему-то никак не переходит в качество... жизни наших людей. Почему? Хотя Федор Михайлович все, и Иосифа Виссарионовича в том числе, предсказал. Провидчески вычислил!

Бессмертного писателя он часто называл запросто по имени-отчеству. И можно было бы счесть это фамильярностью, если б не благоговейная интонация, с какой Анекдот о нем говорил. Вождя же он называл по имени-отчеству с иронией, от которой во все стороны летели искры брезгливой ненависти.

– Но ведь Федор Михайлович был, говорят, антисемит? – робко напомнила мама.

– С него нет спроса, – ответил Абрам Абрамович.

И выверил своими, мне чудилось, тоже провидческими, глазами, довольна ли мама его ответом. Мама была довольна, и он успокоился.

Абрам Абрамович не допускал ни единого худого или усмешливого слова о русском народе. Именовал же его только *великим*. Даже знаменитую тютчевскую строку «умом Россию не понять» он молчаливо отвергал и принимал лишь следующие две строки: «аршином общим не измерить: у ней особенная статья...».

– Особенная и высокая, – добавлял он.

При всей своей несклонности к пышным эпитетам, он делал в этом случае бескомпромиссное исключение: «Великий народ за Сталина отвечать не должен. Да и грузины за него не в ответе... Между прочим, они от большого террора – в процентном, разумеется, отношении – пострадали больше других». Полностью Абрам Абрамович был покорен лишь справедливости. И моей маме...

Но, размышляя о судьбах России, Анекдот успокаиваться не мог:

– И все же почему такая жестокость, такой вандализм и нищета выпали на долю земли Федора Михайловича Достоевского и Петра Ильича Чайковского? За что?! – Оба были его кумирами. – Если б они жили при нас и при нас же скончались, на их похоронах давки бы не было. Что за страна! У ней, конечно, «особенная статья». Но не до такой же степени!

Когда мама заставила на мгновение оторопеть толпу и использовала минутное оцепенение, чтобы протащить отца сквозь спасительное пространство в массивных, заржавелых воротах и втощить к нам во двор, он боль ощущал. И даже не сумел скрыть ее, хоть был терпелив по-спартански. Он еле слышно, сдавленно застонал, а испугавшись этой слабости, сразу затих.

– Где? Где у тебя болит? – суматошно, точно с ворот попадали вниз мы с братом или сестра, допытывалась мама. По-матерински она относилась к нам всем. – Скажи: где болит?

– Нога, – ответил отец.

Его левая нога не просто болела – она была сломана и раздроблена.

– «Скорую помощь». Надо вызвать «скорую помощь»! – заметалась по двору мама.

В тот момент она не осознавала, что никакая «скорая помощь» не сумела бы пробиться во двор. К тому же у многих за воротами были переломаны не только руки и ноги, но и ребра, позвоночники – все, что можно было переломать, раздавить. А иных нужно было отвезить уже не в больницу, а в морг. Мертвые тела по-прежнему стискивались живыми. Они не могли упасть, и никто не мог над ними склониться... Было в этом нечто удушающе дикое. Потому я думаю, что сатана – не планетарный, а наш, отечественный, – хоть и умер, но похоронами своими не доверил управлять никому, кроме себя самого. Сатана правил бал, на который завлек людей, возлюбивших его и принимавших изощренные муки за эту грешную, несправедливую любовь.

Толпа сомкнулась – и загадочное пространство, которое мама вымолила у судьбы, исчезло. Кто-то, подобно отцу, карабкался на ворота, хватался за металлические переплетения. Кто-то падал и исчезал, как в пропасти или кипящем котле.

– «Скорую помощь»... «скорую помощь»... – уже автоматически повторяла мама.

«Скорая» приехала за отцом через полсутки. Двенадцать часов пролежал он на выщербленном, точно снарядами пробитом, асфальте с трещинами, расползавшимися в разные стороны от пробоин.

Мы вчетвером, сняв с себя кофты и свитера, подложили их под отца и его левую ногу, потому что она кровоточила и лежать на грязном асфальте ей было нельзя. Мама шарфом туго-претуго перетянула бедную отцовскую ногу.

– Может случиться заражение крови. Заражение, понимаете? – объясняла нам мама. – И гангрена может возникнуть. Всю войну прошел. А тут, в мирное время...

Мирное время взывало за воротами о милосердии. Взывало к себе самому. Потому что толпа погибала от толпы, она сама терзала себя и повергала в иступление. Лишь через двенадцать часов кто-то услышал, внял и олимпийски невозмутимо отреагировал:

– Что поделаешь? Если такое событие? Без жертв не обходится. Люди погибают от горя. Будем оказывать помощь. По мере возможности...

Мера возможности была определена со столь кошунственным

опозданием потому, что на фоне «главной беды» другие беды выглядели незначительными.

Левая нога оказалась сломанной в двух местах, а стопа превратилась в крошево. Хирург решил ногу отнять, чтобы она не отняла у отца жизнь.

Болезнь наступала... Она вознамерилась сделать с отцом то, от чего уберегла его Ольга. Медсестра выносила людей с поля боя гораздо быстрее, чем их выносили и вывозили с «поля давки».

Абрам Абрамович все-таки попал в похоронную процессию... Но лишь для того, чтобы, после отчаянного маминого звонка из какой-то чужой квартиры старинного дома, стремительно разыскать нас. А разыскав, он направил маршрут «скорой помощи» к своему давнему другу-хирургу, который не учился вместе с ним и отцом.

Когда боль под напором лекарств чуть-чуть отступила и позволила отцу отвечать на вопросы, хирург спросил:

– Вас не смущает, что моя фамилия Эпштейн?

– Почему вы об этом спрашиваете?

– Мне предстоит сделать вам серьезную операцию... Вы бывший фронтовик, и поэтому не буду скрывать: *очень* серьезную операцию.

– Операцию или ампутацию?

– Я постараюсь, чтобы ампутация была минимальной. Тогда вы сможете без особых мучений пользоваться протезом. Одним словом, поборемся. Но вы не бойтесь?

– Не боюсь, – ответил отец-Герой.

– Нет, не операции... А меня?

– Вас?!

– Ну да... Я ведь еврей в белом халате. А вдруг «убийца в белом халате»? Вы как раз о таких говорили по радио. Я редко слушаю, но случайно так получилось... Услышал. Вы даже, помнится, призывали? В общем, как хирург не могу более разглагольствовать на эту тему. Вы – пациент в состоянии «крайней тяжести». И все-таки спрошу: вы даете согласие? – Отец закрыл глаза. – Вы согласны?

– Согласен. И простите меня.

Хирург Яков Моисеевич Эпштейн, все ближайшие друзья и коллеги которого были арестованы, а некоторые к тому времени и расстреляны, не отдал на растерзание беде отцовскую жизнь, не уступил. И даже отстоял переломанную в двух местах ногу. Ее, однако, он отстоял не всю. Раздробленную стопу и нижнюю часть голени Яков Моисеевич вынужден был уступить. Это и была, как он обещал, «минимальная ампутация».

– Гитлер не смог отнять у тебя ногу, – сказал Анекдот, навещая отца

в послеоперационном отделении, куда его «по знакомству» пустил друг-хирург. – Гитлер не смог... А твой главный кумир, уже мертвый, отнял. Дотянулся с того света. Правда, Яша Эпштейн не позволил осуществить план вождя полностью. Все остальные планы выполнялись и перевыполнялись, а этот – нет. Опять еврей помешал!

Отец был не просто высоким. Он и сложен был словно по проекту скульптора, являвшегося, похоже, его приятелем. Ибо только приятель мог преподнести столь безупречную стройность. Но, заново обучаясь передвигаться, отец пригнулся, минимум на четверть уменьшив при этом свой рост. Никогда и ни на кого не перекладывал он своих трудностей. Ни на кого не пытался опереться, предпочитая во всех, даже самых рискованных, ситуациях собственную силу и личное мужество. Иногда он не прочь был опереться на мудрость Авраама Аврамовича. Но так как эта мудрость порой его не устраивала, отец и здесь обходился пусть спорными, но собственными возможностями и убеждениями.

Мама не могла стоять с ним, как говорится, плечом к плечу, потому что ростом была отцу по плечо. Фигурально же говоря, она всегда находилась с ним рядом. Однако, чтобы не унижать мужское достоинство, мама всегда и везде, кроме критических случаев, подчеркивала, что остается лишь женщиной. Потому что отец всегда оставался мужчиной.

И вот он стал опираться на палку, которую раздобыла мама. Кто-то из родственников пытался подарить ему кокетливую, пижонскую тросточку, потом старинную, нацепившую на себя фамильные вензеля трость с набалдашником, потом индивидуальный полукостыль. Но отцовская палка была не пижонской и не больничной – она пыталась доказать, что отец может обойтись и без нее, что он припадает не к медицинской подмоге, а к природе, к земле. Палка годилась на века, потому что была стволом молодого дуба – с корой, с новорожденными сучками и чуть обнаруживающим себя запахом леса. Ни малейших признаков медицины не было.

Но сочетание палки с Геройской Звездой заставляло людей интересоваться:

– Фронтное ранение?

– Нет, случайность, – отвечал отец.

Герою Советского Союза протез сделали мигом. И, как все вроде бы самое обыкновенное, «в порядке исключения». А не будь он Героем, долго бы проковылял на костылях!

– Послушать злыдней, так и подвиг ты совершил для того, чтобы

пропустили вне очереди, – с жалостью к подвигу, к отцовской ноге, да и к самой очереди произнес Анекдот.

Чувство юмора редко бросало Абрама Абрамовича на произвол. Внутренне огорчаясь или горюя, он искал спасения в шутках и анекдотах. Горевал же он чаще всего, возвращаясь с работы.

– Сегодня прочитал рукопись члена-корреспондента. Машинистка, которая, в отличие от именитого автора, в академии не состоит, конечно, многое привела в соответствие с орфографией и грамматикой. Но член-корреспондент после нее от руки делал вставки. И представьте, написал слово «ночь» без мягкого знака, а десять тысяч решил «смягчить» и после слова «тысяч» поставил мягкий знак, похожий на грушу с хвостиком. Очень четко поставил, чтобы редактор не сомневался. – Анекдот вспомнил заодно институтского заведующего кафедрой марксизма-ленинизма, который, наводя порядок в аудитории, призывал: «Ну, вы там, «в зад», нельзя ли потише?» – Чей зад он имел в виду? Так вот... Я сказал в комнате про эти мягкие знаки. Члену-корреспонденту донесли, и он громко, на весь издательский коридор, заявил: «Не ему обучать меня русскому языку!» Ивриту я обучать его не могу: сам не знаю.

Учительница Мария Петровна, которая гордилась тем, что мы, дети Героя, учились в ее классе, попросила однажды, чтобы отец выступил на торжественном вечере в честь Октябрьской революции, которую тогда еще называли Великой.

– Ни одна революция не приносила ничего, кроме крови и слез, – сказал Анекдот. – Таково назначение всех революций. На Западе, и даже на Востоке, их боятся. И только у нас что ни год, то революция: в промышленности, в сельском хозяйстве, в науке, в языкознании... А началось с той, которой на самом-то деле и не было. Имел место банальнейший захват власти.

– О чем ты говоришь?! – В знак протеста, позабыв о палке, отец выпрямился.

– Смерть твоего кумира тоже можно было объявить очередной революцией. Видимо, не догадались. А могли бы... Дело «врачей-убийц» отменили, депортацию – тоже. Чем не революция? Даже две! Как известно, «мертвые сраму не имут». А остальные не знали, не ведали, при сем не присутствовали... Сталин как-то сказал: «Октябрьская революция предоставила неограниченные возможности!» Действительно, не ограниченные – ни правдой, ни совестью. Так что иди, Борис, выступай на торжественном вечере. Тем более просила учительница.

– Зачем ты это... при детях?

– Говорят, честь следует беречь смолodu, – мирно ответил Анекдот. – Стало быть, и истину не мешает знать смолodu. Какая же честь без истины?

«Кадры решают все!» – провозгласил задолго до того, как получил кровоизлияние, Сталин. И *после* его смерти кадры начали обновляться.

Вообще в Советском Союзе каждая смена власти означала смену руководящих кадров – на среднем и низшем уровнях. Владыки же, если не попадали в тюремные камеры, оставались в правительственных кабинетах. Даже к нам в школу явился новый директор.

У любого человека на лице что-то выглядит главным: глаза, или лоб, или подбородок. У директора главным был нос. Как некий миноискатель, он, казалось, определял, кого и что надо убрать, устранить. Мысля «по-государственному», он был озабочен не тем, что надо создать, а что разрушить и кого выбросить. Новый директор шастал по классам и коридорам, ощупывал парты, черные доски с неизменными следами небрежно стертого мела, подоконники... Единственное, чего он не замечал, были ученики. Именно «чего», а не кого, потому что мы, ученики, интересовали директора меньше, чем реквизит.

Наш классный руководитель Мария Петровна сообщила ему в вестибюле, возле гардероба, где я натягивал на голову шапку-ушанку, поскольку по календарю была осень, а по термометру уже наступила зима:

– Приглашаю вас на встречу с Героем Советского Союза Борисом Исааковичем Певзнером. Отец трех моих учеников!

То, что сразу трех, директора не удивило, но вот об отчество и фамилию он споткнулся.

– А что, *другого* отца-Героя у вас нет?

– Другого нет, – ответила Мария Петровна, давая понять, что Герои на улице не валяются.

Отстаивать справедливость было ее страстью. А так как в замужестве она ни разу не состояла, вся страсть – без остатка! – отдана была справедливости.

– *Другого* Героя нет! – повторила она.

– Странно, – сказал директор. И его нос-миноискатель уткнулся – разумеется, на некотором расстоянии – в лицо Марии Петровны.

Он постоянно держался на «некотором расстоянии»: чтобы дистанцию соблюсти, но главным образом чтобы дать испариться хроническому винному запаху, исходившему от него.

Директор был недоволен, что обреченный батальон спас на войне наш отец, а не чей-то другой.

– Сталин умер, но дело его живет, – сделал вывод Абрам Абрамович, когда я рассказал ему дома о том разговоре, подслушанном в вестибюле.

– Не ходи к нему в школу, Боря, – посоветовала отцу мама.

– К *нему* не ходи, – согласился Анекдот. – А к ним... – Он указал на меня с братом и на сестру, – к ним пойдешь обязательно. Ты, Борис,

сам как-то сказал, что по числу Героев Советского Союза евреи на одном из самых первых мест... И это при том, что награждать их никто не рвался. Сказал?

– Так и есть.

– Существует, правда, теория: *они*, дескать, защищали самих себя. Ведь додумались! – Еврейский Анекдот был невысоким и шуплым, но не казался таким из-за мощной головы, на которой главным был его лбище. Складки, многочисленные и глубокие, то собирались гармошкой, то расправлялись, отражая настроение Абрама Абрамовича. Глаза – под буйно и в разные стороны разросшимися бровями – были либо грустно-шутливыми, либо шутливо-грустными. Тоска не покидала их никогда. Как, впрочем, и юмор... – Придумали же: защищали себя! – Гармошка на лбу собралась столь интенсивно, что, казалось, опять заиграет... – Пойди в школу, Борис. Пусть увидят Звезду на твоей певзнеровской груди. Не забудь надеть!

– Я прослежу, – пообещала мама. И неожиданно предложила: – А в день праздника надо бы послать по радио телеграмму той медсестре, которая спасла тебя. Знаешь, передают... и люди находятся! «Бывшей медсестре Ольге, живущей в Рязани... От бывшего лейтенанта Бориса Певзнера!» Она может услышать.

– Не может, – ответил отец.

– Почему?

– Она была навывлет ранена в тот самый день. На «вылет» из жизни...

– Спасая тебя?!

– Нет, моих незабвенных друзей-товарищей, – вновь применяя фронтовую терминологию, что он делал часто, ответил отец. – Митю Егорова и Лешу Носкова. Они после... тоже погибли.

– Как ты узнал об этом? О *ней*? – спросила мама.

– Она лежала в том же госпитале, где я. На первом этаже. И прислала мне свою фотографию. Ольга Нефедова...

– Тебе? Лично тебе? Смертельно раненная?

– Лично мне.

– И где же она? Фотография?

– Я отдал потом, уже через год, в Музей боевой славы полка.

– Куда?! В музей? Она – *тебе*, а ты – в музей? – Анекдот не поверил своим ушам. На его сократовском лбу вновь почти заиграла гармошка. И он нарочито перевел разговор на прежнюю тему: – Итак, по числу Героев евреи – на третьем месте. Или на пятом... А интересно, на каком мы с вами месте по количеству населения?

Наша семья не знала.

– Может, на тридцать седьмом? – предположил Анекдот. – Фу ты! Какая неудачная цифра... Ну, на девяносто девятом. Иди в школу, Борис. И пусть твои дети гордятся!

– Они гордятся... – Мама обняла нас троих.

Складки на лбу Абрама Абрамовича разгладились.

– Знаете, есть такой анекдот... Подходит еврей к памятнику Суворова. И генерал подходит. Еврей, не выговаривая примерно двадцати букв из тридцати трех, спрашивает: «Это Суворов или Кутузов?» – «Суворов», – пародируя его акцент, отвечает генерал. «Что вы мне подражаете? – говорит еврей. – Вы ему подражайте!» Ты, Борис, вполне мог бы сказать этому директору: «Вы мне подражайте!» А что? Имеешь законное право. Но все же не говори: детей жалко.

Нет на свете ни одного нормального человека, который бы хоть раз не влюбился. Нет такого человека.

С разными людьми это происходит, разумеется, в разном возрасте. Со мной произошло в детском саду. На меня внезапно навалилось такое, чего я не испытывал более уже никогда. В шестилетнем возрасте я окончательно понял, что без Лиды Пономаревой жить не смогу. К сожалению, она в отношении меня к такому выводу не пришла. То есть пришла, но не сразу. Не так быстро, как мне бы хотелось.

Я должен был Лиду завоевать! И начал с того, что спрятал ее вишневое пальто с вишневыми пуговицами... И сам же его нашел. То, что спрятал, не было известно никому, а за то, что нашел, меня благодарил заведующая детским садом, а потом Лидины мама и папа. Таким образом, я потихонечку начал вторгаться в ее семью... Сама Лида не поблагодарила меня: она считала, что искать и находить ее вещи – это моя обязанность. Ведь она уже догадалась, что я в нее влюбился, как говорится, по уши. Кстати, неточное выражение: выше ушей у меня находилась макушка, и я был влюблен по самую макушку, выше которой на голове уже ничего не было.

Пальто я спрятал на улице, под водосточной трубой, и прикрыл старой газетой. Участковый милиционер, опекавший наш детский сад, потому что младшую группу посещала его дочь, сделал вывод, что вор вынес пальто из раздевалки, но потом кто-то ему помешал, и он спрятал пальто под трубой, чтобы позже его «доукрасть». Так он и выразился: «Доукрасть». Я, стало быть, предотвратил выполнение уголовного замысла.

Через неделю я похитил «красную шапочку» и спрятал ее в утробе карусельного коня. Возникла паника, вызвали того же самого милиционера, который, в результате неглубокого раздумья – на глубокое он был неспособен – пришел к выводу, что за Лидой «охотится мафия». Не побоявшись мафии и наперекор ее планам, я вскоре обнаружил шапочку и вернул ее лично владелице. Тут она меня впервые... поцеловала: красная шапочка почему-то была для нее дороже вишневого пальто.

Я, выходяло, украв пальто и шапочку, начал похищать и Лидино сердце.

Похищение было полностью завершено, когда мы были уже в третьем классе... Почти три с половиной года понадобилось мне на то, чтобы доказать Лиде Пономаревой, что я унаследовал не только рязанское отцовское лицо и его безупречное телосложение, но и его мужество, его настойчивость и верность в любви.

Нашим с Лидой отношениям, все более обострившимся (в положительном смысле!), тайно противодействовало лишь одно: Лида не любила мою сестру Дашу, поскольку в Дашу были влюблены все третьеклассники мужского пола, кроме меня и моего брата Игоря. Официально считалось, что Лида на втором месте после Даши, но она почему-то предпочитала занимать первое место. Меня это повергало в изнурительные сомнения. Мы с Лидой твердо и окончательно решили сочетаться в тот самый день, как только нам разрешат. И я не мог уразуметь, зачем ей при этом нужно видеть у своих ног еще хоть одного поклонника. «Уразуметь» происходит от слова «разум». И когда я сам чего-либо уразуметь был не в состоянии, то обращался за разумом к Абраму Абрамовичу.

Тут самое время разъяснить, какой у меня был характер. Почти такой же, как у моего брата-близнеца Игоря, но ничего общего не имел с характером сестры Даши.

Мы с Игорем позаимствовали у отца его русоголовую и голубоглазую открытость. Но этой открытостью прикрывали хитрость и фантазерство, иногда переходившие во вранье. Отец утаивал лишь военные секреты из истории фронтовых лет и профессиональные – о своей лаборатории. Мы с Игорем обожали тайны и даже к тому, что скрывать было незачем, мысленно припечатывали гриф «Совершенно секретно». Не мог я скрыть лишь своей любви к Лиде Пономаревой. Ибо любовь засекречиванию не поддается.

Даша же не изменила маме ни внешне, ни внутренне. Ее нельзя было

назвать маминой копией, ибо копия – нечто застывшее, сделанное с помощью ксерокса или другого копировального аппарата... Или кисти, механически повторяющей чужой замысел.

Даша была человеком не цельнометаллическим, каким был отец, а просто цельным, каким была мама. Наши же с Игорем характеры раздирались противоречиями. Даже в мелочах... К примеру, мы были охотниками скрывать и прятать, но, в отличие от Даши, прежде чем принять какое-нибудь решение, непременно советовались – друг с другом и со всем белым светом.

Любовные сомнения привели меня к Абраму Абрамовичу.

– Видишь ли, Серега... – собрав морщины на лбу, начал он. – Видишь ли, если женщина жаждет поклонения, ей нужно поклонение всех мужчин, которые встречаются на ее пути. И тем более своих одноклассников... Но это вовсе не исключает того, что любит она лишь одного из них!

Он взглянул на меня так, чтобы я не посмел усомниться, что как раз и являюсь тем самым единственно обожаемым. Гармошка разгладилась на его лбище: стало быть, он был уверен в неколебимости моих любовных позиций.

Мы охотнее всего верим в то, во что хотим верить. Я сразу согласился с Абрамом Абрамовичем.

Но согласиться – одно, а успокоить душу свою – это совсем иное. «Почему *она* все-таки хочет переманить Дашиных поклонников, если к ним равнодушна?» – думал я, когда замечал, сколь раздраженно реагирует Лида на пылко восхищенные или исполненные беззвучного, полутайного обожания взоры мальчишек, устремленные на Дашу. И когда не замечал, как она реагирует, тоже думал...

За мудростью я обращался к Еврейскому Анекдоту, а за советом – чаще всего к брату Игорю. Психологом он считался в нашей семье с самого раннего детства... Погружение в психологический анализ, как всякое погружение, требовало принимать на себя тяжесть (в данном случае – тяжесть раздумий), а еще требовало недетской собранности. И Игорь научился столь прочно себя собирать, что иногда долго не мог «разобрать» обратно. Мой брат до такой степени был устремлен «вглубь», что мог, я опасался, захлебнуться в собственных размышлениях. И все это хитроумно сочеталось с нашими тайнами и враньем.

Игорь безошибочно угадывал, почему душераздирающе тоскливое настроение посещало нашу рыжую кошку Сарру (так именовал ее Еврейский Анекдот: «Кошке это не повредит!»), и отпускал Сарру на волю

во двор к любовнику с вполне славянским именем Петр.

Петр был убежденным интернационалистом: он не подвергал дискриминации ни отечественных, ни сямских, ни ангорских кошек. И не оскорблял холодностью кошек с русскими, французскими или итальянскими именами... Вот и рыжая Сарра не менее двух раз в году дарила ему потомство. По желтоватым, выпуклым, прозрачным, как пуговицы, Сарриным глазам, скорбное выражение которых вполне соответствовало ее имени, Игорь предсказывал, когда она в очередной раз, расставшись со скорбью, обретет материнское счастье.

Как психолог, мой брат улавливал каждый момент зарождения молчаливой отцовской ревности – и немедленно укреплял мамино алиби личными «свидетельскими показаниями».

– В школе было родительское собрание, – сообщила однажды мама, возвратившись домой позже, чем хотелось бы отцу.

– Я там был! – немедленно подтвердил Игорь.

– Но тебя там не было, – возразила честная мама.

– Я тайно присутствовал...

– Зачем?

– Чтобы знать, что думают о нас наши родители.

По лицам учителей Игорь мог безошибочно предсказать, когда его или меня вызовут к доске. Даше эти предсказания не требовались: она, в отличие от нас, всегда была готова к ответу. Ах, если б ей разрешали отвечать и от имени всей нашей тройки! Тройки тогда не налезали бы друг на друга в наших с Игорем дневниках.

– Зачем нам нужна математика, если, распрощавшись со школой, мы и с ней распрощаемся навсегда? – недоумевал брат. – Психологически это необъяснимо!

Именно Игорь сообщил мне, что Лида не любит Дашу.

– Откуда ты знаешь?

– Смешной вопрос! Я же психолог. А ты не согласен?

Психолог изучает не собственный внутренний мир, а мир окружающих. Поэтому Игорю было любопытно, что я отвечу.

– Если Лида не любит Дашу... это печально.

– Не огорчайся, Серега. Это естественно! – возразил брат-психолог. – Двум красавицам в одном классе тесно. Ты согласен?

С терзаниями по поводу того, зачем Лиде нужен успех у всех, если она имеет успех у меня, я не расставался до окончания школы.

Когда мы были в седьмом классе, я, страдальчески взирая на Игоря, произнес:

– Не могу понять...

– Любит ли тебя Лидка Пономарева?

– Во-первых, Лида. А во-вторых, как ты догадался?

– Смешной вопрос! Я же психолог, Серега.

Отец называл меня Серегой «со значением» – задумчивым и драматичным: так звали его погибшего фронтового друга. А Игорь – просто вслед за отцом и за моей внешностью.

– Конечно, хотелось бы проверить, любит ли меня Лида?.. Только вот каким образом?

– Немедленно заболеть! Чувства точнее всего определяются болезнью и смертью. Умереть было бы лучше, но заболеть проще.

– Проще... Но как?

– Ты станешь больным, оставаясь здоровым!

– Но если она придет и...

– Главное, чтобы пришла! – перебил Игорь. – Если придет – хорошо. А если прибежит – то отлично. Еще имеет значение, через какое время она явится: через минуты или часы! Хотелось бы открыть ей дверь через секунды... Тогда, значит, ты любим на все сто процентов! Поверь мне, психологу.

«Уж поверьте мне, психоневрологу!» Эти слова я перенял у брата, слегка их переиначив.

– Но как заболеть?

– Заболеть – просто, – сказал Игорь, – выздороветь – труднее. Но это если на самом деле... А в данном случае? Сначала ты симитируешь болезнь, а потом – излечение.

– Что я сделаю?

Как психолог, Игорь знал слова, до значения которых я еще не добрался.

– Симитируешь, Серега... то есть изобразишь.

– Какую болезнь? Ведь Лида такая умная – и сразу...

– Любой женский ум есть всего-навсего женский ум. Он легко преодолевает путь от подозрительности к доверию.

Так мой брат Игорь разговаривал в седьмом классе. Моцарт в его возрасте давно уж сочинял музыку, а Игорь давно уж разбирался в женской психологии... если в ней вообще можно разобраться.

– Тебе виднее, – сказал я.

– Еще бы! – ответил он. – И не нервничай. Не психуй... Лучше быть психоневрологом, чем психом и неврастеником. Пусть она сходит с ума! Учти: выгоднее быть безумно любимым, чем безумно влюбленным.

От кого-то я уже слышал подобную фразу... Может быть, от Абрама Абрамовича?

Честное слово, именно в ту минуту мне пришла в голову мысль стать психоневрологом. «Пусть лучше я буду излечивать от сумасшедшей любви, чем сам буду лечиться от сумасшествия», – подумал я.

– Тебе Анекдот рассказывал анекдот о том, чем неврастеник отличается от шизофреника? – спросил Игорь, словно угадав овладевшее мною намерение.

– Нет... Не помню.

– Так слушай. «Шизофреник знает, что дважды два – это пять. И он абсолютно спокоен. А неврастеник знает, что дважды два – четыре... Но его это безумно волнует!» Она любит тебя. Как дважды два... Уж поверь мне, психологу. И не дергайся!

– А ты докажи.

– А ты заболей!

– Какой болезнью?!

– Естественно, редкой и непонятной. В которой не только она, но и сам Пирогов бы не разобрался. Ну, например... «Скачка температуры»!

– Есть такая болезнь?

– Нету. Но у тебя будет.

– И в чем она выражается?

– Какие симптомы? – Игорь так разговаривал. – Симптом только один: скачка температуры. Я сообщу ей по телефону, что у тебя сорок один градус. А когда она примчится, температура будет уже тридцать шесть и шесть.

– А она примчится?

– Не сомневаюсь, Серега. Не сомневаюсь!

– Почему?

– Смешной вопрос! Я же психолог.

Лида примчалась... Она любила меня. И так сильно любила, что больше всего ее взволновала «нормальная температура».

– Была сорок один?

– Ртуть упиралась в головку градусника, – ответил Игорь. – Если бы она могла расколоть стекло, то разбила бы!

– А теперь нормальная?

– Как видишь.

– То нормальная, то повышенная? Уж лучше бы все время была повышенная. Надо вызвать профессора... специалиста!

Она любила меня.

Любовь, я понял еще в детском саду, ужасна тем, что не отпускает человека ни на мгновение. Стихи, я думаю, иногда освобождают от себя поэта, наука не круглосуточно будоражит и терзает Мысли ученого, а любовь полностью завладевает тем, кто ей поддается. Она либо вовсе и порой внезапно покидает свою жертву, либо пребывает вместе с ней неотрывно, как дыхание или сердцебиение. Даже ночью, даже во сне.

Можно было считать, что я не расставался с Лидой Пономаревой ни на секунду, начиная со старшей группы детского сада. В младшей ее просто не было... А она? Расставалась ли со мной хоть на секунду?

– Этого ты не узнаешь никогда, – огорчил меня Игорь. – Скажет, что не расставалась. А с точностью этого не установит никто. Ни один психолог!

– Даже ты?

– Даже я.

Особой достопримечательностью нашей школы был ее «театр». Так получилось, что брат преподавательницы литературы – известный режиссер, лауреат всяких премий Иван Васильевич Афанасьев – руководил театральным училищем, приравненным к высшему учебному заведению. Он исповедовал теорию, согласно которой актерские дарования надо искать и обнаруживать если не в родильном доме, то, уж во всяком случае, среди школьников. Его сестра-учительница посоветовала обнаружить эти таланты в ее школе. И режиссер обнаружил! Поэтому по воскресеньям в наш зал устремлялись театралы со всего города. Зал – когда не только яблоку, но и сливе негде было упасть – вмещал человек двести. И попасть в него считалось престижным. «Вчера мы были у Афанасьева!», «Вы еще не были в афанасьевском театре? Ну как же так?». Характерно, что академический театр, который прежде возглавлял брат нашей литераторши, «афанасьевским» не называли.

Знаменитый режиссер относился к сестре-учительнице почти так же, как мы с Игорем к Даше. И он и мы любили своих сестер и защищали их: мы Дашу – от поклонников и завистниц, а он свою сестру – от жизненных невзгод и полного одиночества. Благодаря брату – народному артисту Ивану Васильевичу – незамужняя и бездетная, активно некрасивая женщина обрела новую жизнь: пусть не личную, но необычайную, праздничную. С помощью ее протекции можно было добиться «прослушивания» у Ивана Васильевича, достать билеты – хотя бы на приставные стулья. То, что на спектаклях требовались и приставные стулья, было нашей дополнительной гордостью.

Я говорю «нашей» не только потому, что учился в той школе, но и потому, что первым среди обнаруженных Иваном Васильевичем талантов была Даша. А вторым дарованием – опять вторым! – стала Лида Пономарева. Произошло это, когда мы учились уже в восьмом классе. Неприязнь Лиды к Даше с каждым годом все оттачивалась, превращаясь постепенно в ненависть. Даже в классном журнале Даша была впереди, так как хоть первые буквы наших фамилий совпадали, второй буквой у нас было «Е», а у Лиды, к ее неудовольствию, «О».

Даша играла Золушку, Снегурочку, Джульетту... А Лиде и другим дарованиям Иван Васильевич, как и все режиссеры, подробно и неоднократно объяснял, что нет «маленьких ролей», а есть «маленькие актеры». Лида, с одной стороны, не хотела считаться маленькой актрисой, боящейся неглавных ролей, а с другой – к маленьким ролям она тяготения не испытывала.

– Великие мастера часто исполняли и великие роли, – справедливо заметила она.

– Но не гнушались и «проходными», превращая их в незабываемые, – пояснил Иван Васильевич.

Сначала Лиде досталась роль одной из Золушкиных сестер.

– Ну да... Твоя сестра будет играть сказочно идеальную героиню, а я, естественно, стерву.

– Но стерву может играть и сказочно идеальный человек, – ответил я, намекая, что Лида является именно таким человеком.

Сейчас, когда та любовь давно уже освободила меня от своих оков, я осознаю, что Лида, увы, не была идеальной.

Она была ослепительной: ослепляли безукоризненной, поражающе одноцветной белизной ее зубы; ослепляли празднично золотистым, как с новогодней елки, блеском ее волосы, а осенне-яблочным – ее щеки... Находясь в таком ослеплении, сути не разглядишь. Глаза у нее были разного цвета: один зеленый, а другой – карий. Она непрестанно об этом помнила. И, как все другое, использовала столь редкую необычность для своей выгоды. То прищуривала – не закрывая до конца! – карий глаз, а зеленым открывала желанную для многих дорогу к общению. Щелочка карего глаза предупреждала, а то и угрожала: надежда может быть отобрана, а обещание прекращено.

Когда мы были уже в десятом классе, Иван Васильевич – как нарочно – предложил Лиде «попробовать себя» в качестве кормилицы Джульетты. Отказаться от роли – это значило, по системе Афанасьева, отказаться от театра. И Лида на сцене, у всех на виду, стала кормилицей моей сестры.

«Слава Богу, что Дашу на самом деле вскормила все-таки моя мама!» – думаю я сейчас.

Иван Васильевич выглядел не то чтобы красивым, а роскошным мужчиной: даже запах от него исходил какой-то дворцовый. Нельзя сказать, что значительными выглядели «черты» его лица, ибо «черт» не было, а были: уж нос так нос, подбородок так подбородок, лоб так лоб (не столь сократовский, как у Абрама Абрамовича, но выпуклый, крупный, явно таивший в себе ум, от которого невозможно было укрыться). Уж поверьте мне, психоневрологу.

Словно только что полученные от портного, витринно отутюженные костюмы; неотрывные от них по цветам и оттенкам галстуки; рубашки (ни единой складки под микроскопом не разглядишь!), ненастырно гармонировавшие и с костюмами, и с галстуками; платки, пышно выбивавшиеся из нагрудного кармана...

Так как мама и Даша все на свете умели, они и зашарпанную школьную сцену превратили в театральную, стараясь, чтобы эстетически она соответствовала внешности Афанасьева. Убрал все лишнее, углубили ее. А дома по вечерам «ушивали» и расцвечивали чьи-то пиджаки, брюки и платья, подгоняя их под внешность и характеры «действующих лиц».

– Все, что с «чужого плеча», должно стать своим для плеча персонажей, – напоминал на репетициях Афанасьев.

Сам-то он постоянно ощущал свою одежду *своей* – и плечами, и грудью, и спиной... То, что было на нем, могло быть только на нем.

Сестра-учительница была похожа на брата, но скульптурность мужского лица к ее лицу не приспособилась: делала его громоздким и вызывающе неженственным. Лишь взгляд у них был один и тот же: откровенный, не боявшийся столкнуться с другими взглядами.

На премьере «Ромео и Джульетты», обставившей школу автомашинами, как бензоколонку, я, сидя позади Игоря на приставном стуле, заметил, что Иван Васильевич тоже как бы исполнял в спектакле ведущую роль: он смотрел на Дашу не менее влюбленно, чем общешкольный сердцеед Гена Матюхин, игравший Ромео.

Это было нашей последней школьной весной.

Гена, который в программках именовался Геннадием, на сцене признавался в любви не Джульетте, а моей сестре Даше. Получил такую возможность... Другой возможности у него не было, потому что на прежние притязания Даша ответила с маминой деликатностью и маминой же решительностью:

– Не обижайся, пожалуйста... Но уволь!

– От чего тебя уволить? – спросил обескураженный Матюхин, привыкший даже «крепости» брать без боя.

– Не от чего, а от кого, – ответила сестра. – От себя!

Таким же радикальным образом она реагировала на домогательства и других поклонников. А если домогательства продолжались, Даша обращалась за помощью к своим братьям, которых Абрам Абрамович не без причины называл «братьями-разбойниками». Сыновья Героя, мы обороняли сестру героически: предупреждениями, угрожающими записками, а то и физической силой, которая иногда оказывалась результативней уговоров и убеждений. Так как Даша умудрилась покорить даже недоступные для лирических чувств сердца хулиганов, живших в нашем дворе, нам пришлось объявить войну и тем влюбленным, что находились на учете в милиции.

Узнав о кровавой – в буквальном смысле – мести, которая по-грозовому низко и душно нависла над нами с Игорем, Даша тоже ощутила себя наследницей отцовского героизма. Увидев из окна, что шайка влюбленных, усевшись на скамье – пока еще не подсудимых, а в центре двора, – играла в карты, Даша помчалась вниз. Она и бегала так, что впору было, разинув рот, заглядеться: легко отрываясь от земли (вот-вот взлетит и исчезнет!). А вернувшись, сообщила маминым, неотразимо грудным меццо-сопрано, в которое можно было *персонально* влюбиться:

– Они вас пальцем не тронут!

Поклонники-хулиганы угрожали нам вовсе не «пальцами», а кастетами и ножами, но мы с Игорем приняли отважные позы:

– Чего их бояться?

Была ли она сама до тех дней в кого-нибудь влюблена? Это, при ее скрытности, и сам «объект» долго бы не узнал. Но существовал ли он?

Когда Даше было лет тринадцать или четырнадцать, она, помню, сказала учительнице Марии Петровне, насмерть стоявшей за справедливость:

– И вы растолкуйте, пожалуйста, родителям, которые почему-то взбудоражены, что их сыновья в полной безопасности. Я мальчишек уже просила... Но передали они или нет?

– Умница ты моя! – восхитилась Мария Петровна.

Тогда сестра еще никого не любила. А теперь?

На сцене она погибала от любви только к Ромео. И, желая знать, убедительно ли она погибает, мимоходом бросала взгляд на Ивана Васильевича.

Меж тем Гена Матюхин, как бы разгримировавшись, продолжал

на сцене преследовать Дашу своей неумолимой страстью. Зная его характер, я бы не удивился, если б он мысленно преследовал и кормилицу, не замечая даже, что ее сознательно укрупнили и утолстили.

Меня по-прежнему ослепляла Лидина внешность, и я, как Ромео, не раздумывая, покончил бы с собой, если б вдруг вслед за Джульеттой скончалась не «кормилица», а исполнительница ее роли.

В тот вечер я снова понял, что рабски влюблен в Лиду Пономареву. А что знаменитый режиссер Иван Васильевич Афанасьев влюблен в мою сестру Дашу.

Мама, отец и Еврейский Анекдот сидели в третьем ряду так, будто были намертво приклеены к нашим облезлым стульям: сцена гипнотически заворожила их и даже на расстоянии лишила возможности двигаться, обмениваться впечатлениями.

В антракте они чуть-чуть ожили – и Абрам Абрамович, разряжая атмосферу, сказал:

– Есть такой анекдот... Сидит еврей в Большом театре на опере «Евгений Онегин» и спрашивает у соседа: «Скажите, Онегин – еврей?» – «Какой же он еврей?! Он – дворянин», – отвечает сосед. Через десять минут – новый вопрос: «Скажите, а Ленский – еврей?» – «Не сходите с ума! Он – помещик...» – «А Ларина, простите, еврейка?» – «И она тоже из дворянского рода!» Уже в последнем, четвертом, акте еврей опять толкает в бок своего соседа: «Скажите, а генерал Гремин – еврей?» – «Да успокойтесь вы: Гремин – еврей». – Еврей вскакивает со стула: «Браво, Гремин!» И я сегодня вопил: «Браво, Даша! Браво, Певзнер!..»

В этот момент, словно услышав анекдот, директор школы резанул меня своим носом-миноискателем:

– Твоя сестра, вижу, метит в премьерши.

Это директора не устраивало.

Все ведущие мужские роли исполнял Гена Матюхин. Его сравнивали с нашими и зарубежными светилами – и непременно в Генину пользу. Учителя и мальчишки называли его способным, «оригинальным», а девочки – гениальным. По этому поводу директор не тревожился. Но сам он тревожил меня вопросом, на который никогда не было и, вероятно, не будет ответа: почему евреям ожесточенно ставят в вину то, что другим и во сне не поставят? Почему Даша Певзнер не могла быть премьершей в нашем театре, а Гена Матюхин мог? Почему? Если злодеяние совершено славянином, никому и в голову не придет объяснять принадлежность к преступлению его национальной принадлежностью. Но если то же самое сотворит еврей, его вина возбудит город, страну, тут же будет объяснена

национальностью и приписана всему народу-изгою. Однажды по радио я услышал, что какой-то вампир с исконно русской фамилией изнасиловал, истерзал и убил тридцать женщин и даже девочек. «Боже! А если бы он оказался евреем!» Это было моей первой и самой мучительной мыслью. До чего же нужно было довести мою психику? Я снова сказал себе: «Буду психоневрологом... чтобы спасти людей от ненормальных реакций!» Я имел в виду и черносотенцев, и тех, кого они довели до ручки.

– Знаете, – продолжил в антракте Абрам Абрамович, – один мастер «пуха и пера» заявил: «Зачем мне читать? Я сам сочиняю!» Или... «У еврея спрашивают: «Кто сочинил «Преступление и наказание»?» А он отвечает: «Не я!» Старая шутка и анекдот-доходяга, но что поделаешь: к месту! В отличие от тех двух неучей, мой нынешний автор читает чересчур пристально: память его буквально заглатывает чужие тексты, а потом выплескивает их на страницы опусов доктора медицинских наук. Я вынужден был обратить докторский взор на «некоторые заимствования». И тут другой анекдот повторился, как говорят, в самой жизни. «Еврей заполняет анкету... Были ли за границей? Нет! Имеете ли родственников за рубежом? Нет! Привлекались ли к судебной ответственности? Нет! Национальность? Да!» Так вот... Когда я «обратил его внимание», доктор наук взъярился: «Не вам учить меня честности!» Спрашиваю: «В каком смысле не мне? По какому пункту?» Он отвечает: «Да!» Не сказал «по пятому», а убежденно ответил: «Да!» Сама жизнь становится анекдотом. И жутковатым! Если пункт анкеты может стать пунктом обвинения...

– Иван Васильевич, позвольте вас на минутку пригласить ко мне в кабинет, – сказал Афанасьеву тоже в антракте директор школы.

Я понял, что разговор будет о Даше. И незаметно – мы с Игорем любили действовать незаметно – последовал за ними.

Ивана Васильевича останавливали, обнимали, уверяли, что его теория уже стала законом: школьники-непрофессионалы могут превзойти профессиональных актеров.

– Перводанная естественность! Перводанная естественность... – восклицала какая-то театральная деятельница, собственноручно старившая себя тем, что слишком усиленно молодилась.

– «Будь она актрисой, она бы не радовалась за непрофессионалов», – предположил я.

Наконец, они вдвоем добрались до директорского кабинета. Там,

на первом этаже, в вестибюле, курили не только сигареты, но и фимиам Ивану Васильевичу:

– Невозможно поверить, что это самодеятельность! Доказать, что молодой природный талант может обойтись без актерского образования? Так было с Шаляпиным!

Вон куда маханули!

Директор никак не реагировал на восторги, поскольку вообще хвале принципиально предпочитал хулу. А Иван Васильевич, еще более роскошный по причине премьеры, утихомиривал почитателей:

– Не торопитесь: впереди еще целый акт!

Спектакль игрался с одним антрактом, как большинство спектаклей: у людей в наше время времени не хватает.

Но ценители искусства не желали утихомириваться:

– Сцена подтвердила теорию, а теорему сделала аксиомой!

Иван Васильевич и директор вошли в кабинет. Дверь – полудеревянная, полустеклянная, небрежно обмазанная бледной больничной краской – захлопнулась. Но я-то знал, куда надо прильнуть ухом, чтобы дверь оставалась как бы открытой.

– Поздравляю вас с успехом, – официально, словно от имени своего кабинета, произнес директор.

– Благодарю вас, – ответил Иван Васильевич.

«Голос так голос!» – можно было воскликнуть и в этом случае. Благодарность, пусть и короткая, плавно вынырнула откуда-то из глубины горла Ивана Васильевича. Каждый звук и каждая буква были предельно ясны. А моему уху это как раз и требовалось!

– Успех успехом, – продолжал директор. – Но все же? Разве Джульетта была еврейкой?

– Она была Джульеттой, – ответил Иван Васильевич.

– Но фамилия ее была, помнится мне, не Певзнер и не что-нибудь в этом роде. А итальянская! И, соответственно, внешность...

– Если говорить о Джульетте, то, я думаю, евреи более похожи на итальянцев, чем русские, то есть мы с вами.

– Но русские есть русские! – с визгливой оскорбленностью вскричал директор.

– Ну а если бы Джульетту, допустим, играла молодая Сара Бернар, как бы вы отнеслись к ее имени?

– Дело не во мне. Но родители... И общественность! Зачем с такой типичной сионистской внешностью... вылезать на первые роли?

– А как вы вообще-то относитесь к другим народам?

И национальностям? К евреям, например? – с угрозой, которую директор своим «миноискателем» не уловил, спросил Афанасьев.

– Очень уж они лезут. Вот и Певзнер до премьерши добралась. Нашла дорогу к вашему русскому сердцу!

Директор, сам того не предполагая, угодил прямо в точку.

– До сердца, говорите? Добралась?..

– У *них* ведь свои методы. Нам с вами и в голову не придет!

– Стало быть, добралась? Особыми методами? Скажите, а вы трезвы?

От директора частенько пахло винно-водочными изделиями, как ни старался он истребить этот запах чесночным.

– Я?! – опять визгливо оскорбился директор, но уже не за весь русский народ, а за себя персонально.

– Так вы трезвы? Тогда последнее смягчающее вину обстоятельство отпадает.

И вдруг я услышал удар. Это был удар по щеке руки сильной и крупной. Рука так рука! Значит, ударил Иван Васильевич. А кого? В кабинете их было двое.

Вслед за ударом должна была распахнуться дверь, к которой я прильнул левым ухом. И она распахнулась. Но ухо мое было уже в коридоре.

Не желая встречаться лицом с лицами, на одном из которых, вероятно, еще не остыла пощечина, я, спотыкаясь на скользковатых, наших подошвами отшлифованных ступенях, взбежал на третий этаж. Там находился школьный зал, превратившийся в театральный.

Мне было до ужаса любопытно: явится ли побитый директор на второй акт, в котором Джульетту и дальше будет играть Даша Певзнер.

– Не придет, – выразил уверенность Игорь, которому я успел про все нашептать. – Побоится, что тот ему еще разок вмажет. При всех! Ты согласен?

Регулярно задавая этот вопрос, Игорь и не думал советоваться со мной – просто ему как психологу любопытна была точка зрения собеседника. Но оставался он всегда при своей.

Наши мнения на сей раз совпали:

– Стыдно, я думаю, будет... с побитой-то рожей!

Директор явился. И по-прежнему сел рядом с Иваном Васильевичем. Будто ничего не произошло.

Слово «профессия» всегда казалось мне пригодным лишь для мелких служаек. «Невозможно же, в самом деле, – размышлял я, – сказать,

что Пушкин «по профессии» поэт, Лобачевский «по профессии» математик, а Эйнштейн «по профессии» физик. Один был поэтом, другой математиком, третий физиком. От Бога, от рождения, от судьбы. Давно уж известно: хочешь понять малое, примерь на великое. Мы трое тоже не выбирали профессий – мы просто хотели *стать*: Даша – актрисой, Игорь – психологом, а я – врачом.

Но не просто доктором... Еще только вступая в зрелый возраст, я уже был издерган любовью, ревностью и сомнениями. Политика не как наша влюбчивая, мирная Сарра, боявшаяся мышей, а как хищная кошка с мышью, игралась с каждой семьей, завлекая, неискренне обнадеживая, нещадно и безвинно карая. Лишь полная незаметность могла от нее уберечь. Но семью еврея-Героя политика не оставляла в покое.

И тогда я окончательно утвердился в намерении стать психоневрологом. Лечить от психического заболевания надо было бы всю страну. Однако на миссию психоневролога-политика я не замахивался. Жалеть же людей, которых не жалела страна, меня научили мама и Абрам Абрамович. Я вознамерился лечить и спасать.

Возвращать людям душевное равновесие – вот что я возвел в свою главную цель. И как раз тогда, когда сам утратил душевное равновесие.

Лишился я его не сразу, не в один день. Но именно один день и даже одна минута, случается, приводят в действие динамит, до которого долго добирался шнур, подоженный чьей-то злонамеренной волей.

Это была та минута, когда в коридоре Театрального училища прикрепили к доске список абитуриентов, которые «прошли». Наши с Игорем глаза стали выискивать букву «П». Наткнулись на нее и ушиблись... Потому что знакомой на «П» оказалась лишь фамилия «Пономарева».

«Зачем? Ну зачем их фамилии начинаются на одну букву?» – затмевал мое сознание нелепый вопрос. Вскоре, однако, сознание прояснилось: «Разве суть в букве? Не вместо же Даши приняли Лиду! Дашу бы все равно не приняли. Начинайся ее фамилия хоть на «А», хоть на «Я»!»

Там, возле доски, просверленной абитуриентскими взглядами, я вдруг осознал, что люблю Дашу больше, чем Лиду. Это были разные чувства. Разумеется, разные! Но все-таки горечь по поводу Даши должна была бы смягчиться, ослабить чуть-чуть свою едкость из-за Лидиною триумфа. Этого не произошло... Ничего внутри меня не смягчилось. И я не устремился, сшибая всех с ног, к телефону-автомату, чтобы поздравить Лиду.

Я ни в чем не обвинял ее, но и не торжествовал по поводу победы,

одержанной ею не в состязании – нет, в битве: на каждое место претендовало семьдесят семь соперников и соперниц.

Кто-то обнял сзади сразу нас обоих, меня и брата, как делала это только мама.

Обнял нас Иван Васильевич.

Я качнулся... И не мысленно, а буквально: ведь это он, страстный Дашин поклонник в искусстве и в жизни, он был ректором Театрального училища.

Афанасьеву как-то удалось остановить, удержать вопрос, который чуть было не сорвался с моих губ: «Как же наша сестра могла не поступить в ваше училище?»

Не утратив роскошества своего образа, но как бы прячась ото всех, узнававших его и на него с языческим обалдением взиравших, Иван Васильевич не отвел, а препроводил нас в свой кабинет, который вернее было назвать музеем. Со стен на нас с Игорем демократично, как на равных, взирали великие и выдающиеся. В этой простоте таились дополнительные приметы величия и недоступности. «Вот и подумайте, как быть такими, как мы, сохраняя при этом естественность и простоту!» – намекали великие. Под стеклом недвижно оживали сцены из спектаклей, тоже всемирно прославленных. Не знаменитое и не прославленное в кабинете отсутствовало. И на фоне всей этой исключительности Иван Васильевич произнес не земную, а прямо-таки заземленную фразу:

– Мы все уладим... Мы все устроим.

До обнародования списка училище было околдовано Дашей Певзнер. Она читала стихи о любви, монологи о любви и даже какую-то басню о любви откопала. Члены приемной комиссии, расходясь – это подслушал Игорь, – говорили, что такого «спектра оттенков любви» они и сами-то не испытали.

– А уж в этом они мастаки! – сказал брат, успевший не только увидеть, но и психологически изучить всех этих известных и знаменитых, явно отличавшихся все же от выдающихся и великих.

Отправляясь в училище, мы упросили Дашу остаться дома, чтобы, мобилизовав ее актерский талант, отвлекать маму от мыслей о возможных ударах «национальной политики». Даша сочетала мамину сдержанность с ее же самоотверженностью, о которой писал Некрасов, не имея в виду, конечно, женщин иудейского происхождения. Даша, как и мама, могла, я уверен, коня остановить «на скаку», «в горящую избу войти». А не увидев своей фамилии в списке, она бы никогда больше в это училище не вошла. И великие, расположившиеся на стенах, думаю,

одобрили бы ее поступок.

Но Игорь считал, что важно не проявлять гордость – и тем паче гордыню! – а побеждать.

– Достижение цели – вот цель! – объяснял он. – Только это психологически верно, Серега.

– Как же так получилось, Иван Васильевич? – проговорил я.

«Психологически верно не задавать бессмысленных вопросов», – учил меня Игорь. Но я все-таки задал.

– Скрытая «процентная норма»... Постыдная, но обязательная для приемной комиссии! – стараясь не смотреть нам в глаза, да и с великими не встречаться взглядом, ответил Иван Васильевич. – Трех молодых людей с тем самым анкетным пунктом мы тогда уже приняли.

– А какие у них были преимущества перед нашей сестрой? – продолжал я задавать бессмысленные вопросы.

– Ну... во-первых, таланты мужского пола театрам всегда нужнее. А во-вторых... что скрывать, по поводу тех трех были звонки.

– Несмотря на их пятый пункт? – спросил Игорь.

– Несмотря.

«Значит, любовь к Даше для него звонком не является? – подумал я. – А Лида не пришла, не явилась... Стало быть, знает, что у нее все в порядке, и не хочет сталкиваться с беспорядком в нашей семье. Мои беспорядки своими она, выходит, не считает?»

– А Лида Пономарева? – зажавшись, спросил я.

Я не протестовал против решения приемной комиссии, а всего лишь поинтересовался.

Игорь обдал меня понимающим и благодарно-родственным взглядом: он-то уж как психолог понял в тот день, что Дашина судьба была для меня дороже пономаревской. Мужская любовь могла бы превзойти во мне любовь «братскую», но не превзошла. Так неужели же любовь Афанасьева к своей должности победила мужскую любовь?

Я вспомнил, что учительница Мария Петровна среди всех нравственных святынь более всего почитала справедливость, ибо, по ее мнению, та прежде других нуждалась в защите.

По отношению к сестре проявили несправедливость откровенную, наглую. И этого стерпеть я не мог.

– Видите ли, у Лиды Пономаревой была золотая медаль, а у Даши – серебряная. Я понимаю, что директор вашей школы плохо разбирается в драгоценных металлах. А в драгоценностях человеческих – он вообще предвзятый профан. Одним словом, золото с серебром перепутал.

В школе, по наущению директора, в финальном десятом классе Лиду стали оценивать по «золотому курсу», а Дашу – по «серебряному». И я понимал, что Лида *Пономарева* формально опередила Дашу *Певзнер*.

– Национальность человека, значит, может считаться его виной? – задал я уж вовсе бесцельный вопрос.

Игорь взглянул на меня, как на кретина: а до тебя, дескать, еще не дошло?

– Мне очень совестно, – сказал Иван Васильевич. Я верил, что ему совестно, потому что слышал, как он залепил пощечину директору школы. – Я позволил себе уговорить Дашу сегодня не приходить. – Значит, уговоры наши совпали. – А вот завтра, когда все будет урегулировано...

Куда девались неотразимая роскошность и артистизм его облика? Они не сочетались со словами «будет урегулировано», «были звонки», «ну, во-первых», «ну, во-вторых».

И *это* произносил он, Иван Васильевич Афанасьев, который недавно дал ту пощечину нашему директору за индивидуальный антисемитизм. «За индивидуальный, стало быть, можно дать по физиономии, а за официальный нельзя, – уразумел я. – Официальному положено подчиняться! Конкретному черносотенцу можно смазать по роже, а государству за то же самое – не полагается». Я убедился, что в общении с другими людьми и с их пороками и в общении со страной и ее преступлениями люди – даже незаурядные, склонные к порядочности – проявляют себя по-разному.

Угадав мои мысли, Иван Васильевич мощно расправил плечи и приобрел ту осанку, с какой разворачивался, чтобы ударить директора школы по лицу в его собственном кабинете.

Лицо директора и лицо государства в той ситуации ничем друг от друга не отличались. И Иван Васильевич, похоже, вознамерился доказать, что гневно это осознавал. Я еще не стал психоневрологом и потому, не сдержавшись, произнес:

– Но почему же фашистской «процентной норме»... вы по морде не съездили? Я так восторгался вами в тот вечер, а сейчас...

– Откуда ты знаешь про *тот* вечер?

– Знаю. А вот сегодня... – упорствовал я.

Внешнее роскошество Ивана Васильевича вновь сникло, плечи сузились, а голос стал просительным, даже заискивающим:

– Я вас прошу... я умоляю, чтобы Даша не узнала о кратковременном, постыдном решении. Поверьте, я хотел повлиять на комиссию, не подчинился звонкам, но остальные, увы, подчинились. Ведь звонили каждому, а не мне одному. Просили за тех. Будь моя воля! Поэтому прошу вас как мужчина мужчину... Втайне от Даши мы уговорим Бориса Исааковича надеть китель со Звездой, пойдем в министерство – и справедливость победит. Как победила она в тот майский день, когда родилась Даша и был взят Берлин. – О том, что мы родились коллективно, втроем, он забыл. – Не ставьте ее в известность. Не ставьте... Вы мне обещаете? Скажите, что окончательные результаты будут известны завтра. Или послезавтра... Что так я вам сказал. Тут не будет обмана: в течение двух дней ее действительно примут. Вы обещаете мне?

Он любил нашу сестру. А Лида, кажется, любила меня. Но любил ли я тогда Лиду? Не знаю.

При всем дворцовом великолепии и артистизме внешности, которые в финале беседы вернулись к Ивану Васильевичу, что-то разительно, на мой взгляд, отличало его в тот день от великих, которые вроде бы слушали нас, но никак не реагировали и не меняли выражение своих не подчинявшихся времени лиц.

– Гена Матюхин тоже не прошел, – вновь извиняясь, сообщил нам под занавес Иван Васильевич.

– Может, ревность афанасьевская Гену не пропустила? – предположил я, когда мы с братом остались вдвоем. – Или в школе преувеличили его дарование? Нет, зря Матюхин «разгримировывался» на сцене.

Игорь оценил это мое открытие:

– Не каждый психолог может быть психоневрологом, но каждый психоневролог – непременно психолог!

Это относилось ко мне непосредственно.

– И еще, знаешь... – продолжил я, стремясь до конца убедить брата, что гожусь в психологи. – Те великие, которые со стен окружают Афанасьева, так бы не поступили. И Дашу бы приняли сразу, и Генку. Матюхин хоть и противный, но не бездарный!

– Ошибаешься, – возразил Игорь. – Великие были великими в ролях... Роли исполняли гениально, ты понимаешь? А вне сцены они были самими собой. И испытывали, поверь, то же самое, что Афанасьев: страх, ревность, желание совершить справедливость, но при этом не рискуя собой. Люди остаются людьми! «Ярость врагов с робостью друзей состязается», – говорил Менделеев. Мама и Даша, правда, сочетают в себе робость и ярость. Но их робость – это застенчивость, а не предательство. Ярость же

их – это смелость. Ты согласен? Но и Афанасьев не струсил – он славировал. Я полагаю, во имя Даши! Сильней государственных правил он оказаться не мог. Но, временно отступив, обойдет правила и победит.

Мой брат был психологом от рождения. «Но это еще вовсе не значит, что его примут на факультет психологии», – подумал я.

Дашу в Театральное училище, в конце концов, приняла любовь. Отец по совету Абрама Абрамовича не надел китель с Золотой Звездой, не направился в министерство. И тогда Афанасьев в одиночку пошел на подвиг.

– Ничего особенного, – сказал отцу Анекдот. – Ты ведь на подвиг тоже пошел в одиночку. И с риском для жизни. Он же рисковал лишь недовольством начальства. А оно понимает: *сам Афанасьев!*..

Любовь помогла восстановить справедливость. Но нас-то с Игорем из старших любили только члены нашей семьи. И еще Абрам Абрамович.

– За Дашу тебе просить было нельзя, – пояснил отцу Анекдот. – Если б она узнала, ноги бы ее не было в этом училище! А сыновья у тебя более сговорчивые. К тому же талант – а Даша очень талантлива! – сам себя может защитить и спасти.

– Мальчики у нас тоже способные!

Отец говорил «у нас», подчеркивая, что один, без мамы, произвести нас на свет был бы не в состоянии.

– Не отрицаю: тоже способные. Но запомни: пока на земле существуют мужчины, Даша не пропадет.

– Она никогда не станет эксплуатировать, использовать свою красоту! – Теперь уже отец встал на защиту сестры: он был Героем-защитником по характеру.

– А ей ничего и не надо «использовать». Ни один настоящий мужчина не оттолкнет, не прогонит, хоть для того, чтобы просто *видеть* ее рядом. Она же дочь своей матери...

– Это так! – согласился отец. – А все же в Театральном училище были сложности.

– Думаю, и зависть могла одолеть иных членов приемной комиссии женского пола. Но в конечном счете Даша бы все равно победила.

– Ты абсолютно уверен?

– Уверен! Потому что видел, как Афанасьев смотрел на Джульетту. – Анекдот не предоставил отцу времени что-нибудь ханжески возразить. – А вот мальчиков надо спасать. Они в этом нуждаются. Поэтому достань китель со Звездой... И возьми с собой их фотографии: пусть убедятся, как они похожи на папу-Героя.

Игорь и я только-только распрощались с отроческим возрастом, который можно было бы назвать возрастом надежд и романтических заблуждений. Но уж сколько раз жизнь предупреждала, чтобы мы и не думали заблуждаться! И о том предупреждала, что надеяться мы можем лишь на что-то из ряда вон выходящее: на Золотую Звезду отца, на красоту сестры... Мы вообще были «из ряда вон выходящими». «Вон» нас выставили бы с удовольствием отовсюду. С точки зрения жизни, честность была выше сиюминутной жалости к нам, и она беспощадно обостряла наш слух, а глаза наши раскрывала шире, делала зорче. И Анекдот вел разговор с отцом в нашем присутствии, ни о чем не умалчивая, как это делали часто, «из воспитательных соображений» ничего не сглаживая, ибо гладкость была бы обманом.

– Но заметьте, – Абрам Абрамович проткнул воздух указательным пальцем, – если какой-нибудь ирод-владыка вознамеривался вовсе покончить с еврейским народом, Бог отбирал у него не только эту возможность, но и жизнь. Разве не так было с Гитлером и со Сталиным? – Произнеся это, Абрам Абрамович от исторических событий перешел к повседневным: – Поэтому надевай, Боря, китель... И шагай прямо к министру: Героев Советского Союза обязаны принимать вне очереди. Он решит сразу обе проблемы: и с психологией, и с медициной. Там университет, здесь институт... Все в его власти. И не пытайся скрывать, что у тебя протез. Не преодолевай боль чересчур мужественно. Пусть думает, что ты наступаешь на ногу, отнятую войной. Он-то сам на войне, я думаю, не был. Так что отбрось певзнеровский комплекс деликатности – и шагай!

– Получится, что я за свою Звезду требую привилегий, – все-таки засомневался отец.

– Тот, кто имеет «привилегию» быть евреем в этой стране, имеет право на защиту своих сыновей.

– От чего?

– А ты еще... так и не понял?

– То, что ты имеешь в виду, вовсе не факт!

– Знаешь, есть такой анекдот... – Абрам Абрамович опасливо, но и озорно огляделся. Убедившись, что мамы и Даши поблизости нет, он продолжал: – Еврею говорят: «Ваша жена изменяет вам на глазах у всего города. Как вы терпите?» – «Я тоже подозреваю... – отвечает еврей. – Но до конца еще не сумел убедиться. Вот, к примеру, вчера... Вижу, что *они*, обнявшись, идут по улице. Я – за ними. Вошли в подъезд. Я – за ними. Вошли в квартиру. Я – за ними... Потом вошли в комнату.

Я прильнул глазом к замочной скважине. Вижу, разделись... А потом потушили свет – и опять эта проклятая неизвестность!»

Мне было приятно, что мы с Игорем, по мнению Абрама Абрамовича, уже доросли до таких анекдотов.

– Так вот... Тебя, Борис, тоже мучает «проклятая неизвестность»: есть у нас государственный антисемитизм или нет? Они уже «разделись», а тебе все еще не вполне ясно!

– Да, нужны веские доказательства... что это идет именно от государства, – неуверенно, а потому слишком громко цеплялся за свою ортодоксальность отец. – Здесь надо обмыслить, обдумать!

– Знаешь, есть такой анекдот... Один пьяный – наверняка не еврей – прячет за спиной пол-литра водки и говорит своему собутыльнику: «Если угадаешь, в какой руке бутылка, мы ее выпьем. А если не угадаешь, пойдем по домам!» – «В правой», – говорит собутыльник. «Думай, Петя!.. Думай!» И ты, Боря, обмысливай, обдумывай... если очевидное для тебя не очевидно.

Еврейский Анекдот, как всегда в таких случаях, посмотрел на него без осуждения, но с жалостью:

– Не заставляй меня приходить к мысли, что для подвига нужна только храбрость, а ум совершенно не обязателен. Прости, что говорю это при твоих сыновьях. Они все равно будут уважать тебя! – В глазах Анекдота жалость сменилась доброй уверенностью. – И любить будут. Как и Даша... Как и Юдифь. Как и я... Потому что ты достоин уважения... и любви.

– А ты разве не достоин? – счел необходимым добавить отец.

– А вот это большо-ой вопрос!

Анекдот нарисовал в воздухе указательным пальцем вопросительный знак, похожий на виселицу.

– Влюбленные наряжаются друг для друга... не только в лучшие, самые выигрышные костюмы и платья, но и выигрышные поступки, – объяснял мне психолог Игорь. – Лишь в старинных романах женщины любят бедных и неудачливых. Ныне в их отношении к мужчинам многое изменилось: они возлюбили удачливых и богатых. А в отношении мужчин к женщинам все осталось по-прежнему: любят очаровательных и главным образом тех, которые обращают на себя всеобщее мужское внимание. Незаметных не замечают... Теория любви, запомни, относится к психологии. Но во всякой науке теория должна подтверждаться фактами. И вот тебе, пожалуйста, два случая, говорящие об одном и том же: влюбленные

скрывают невыгодные ситуации, в которых они оказываются. Афанасьев заклинал не рассказывать Даше о его поражении на приемной комиссии, потому что *поражения* женщин не привлекают. Они предпочитают победы! А отец надел китель и пошел в министерство втайне от мамы, потому что мама, с одной стороны, рухнула бы, если б мы с тобой не стали студентами, а с другой – не хотела бы видеть отца в роли просителя. Просителей женщины, учти, тоже не любят. Они предпочитают тех, кто волен просьбы исполнять или отвергать.

– И мама?

– Она тоже женщина. И очень красивая. А красивым все женские качества и причуды свойственны в первую очередь. Повадки же некрасивых женщин часто не отличаются от мужских. – Спohватившись, Игорь добавил: – Мама тоже любит отца за богатство, но за богатство души: кто еще может быть так предан ей, как отец? Он и детей своих, то есть нас, обожает за то, что мы соединили его с мамой навечно. А богатство героизма, отваги? Наш отец просто Рокфеллер по этой части! Очень богат... И за удачливость она его любит: приговоренный к смерти, остался живым. Рухнул вниз – в давку, в толпу – и не погиб. Он ли не удачлив? Я бы даже сказал, что отец наш – избранник!

Игорь еще ни разу ни в кого не влюблялся. И может быть, именно потому, что так хорошо разбирался в женщинах.

А меня женщины «в общем и целом» не интересовали – я просто по макушку был влюблен в Лиду Пономареву. Выражение «влюблен по уши», как я уже подмечал, – не вполне точное, поскольку макушка расположена выше, чем уши... Любовь вернулась ко мне такой же, что и была, как только Дашу приняли в Театральное училище.

Но все же я стал хладнокровнее, осознав, что страсть моя способна не только наступать, но и отступать, что есть события, которые чувства не разгорячают, а охлаждают. Значит, хоть я и был в плену у любви, но в таком плену, из которого возможен побег.

Я не знал, разбирается ли в любовной теории Абрам Абрамович... Он был холостяком, и никаких отклонений от холостяцкой жизни не наблюдалось (о любви к нашей маме мы лишь смутно догадывались). Но однажды вдруг спросил Дашу, когда в комнате они были вдвоем:

– Скажи, Афанасьев женат?

– Женат. И у него дочь. Учится у нас, на втором курсе.

– Значит, по возрасту он мог быть твоим отцом?

– Нет... отцом я его себе не представляю...

– А кем представляешь?

Даша не ответила. И вышла из комнаты. Она умела замыкаться так, что разомкнуть себя могла только сама.

Через четыре года, уже заканчивая училище, сестра рассказала мне об их разговоре. Она не обиделась на Абрама Абрамовича: должен же был кто-то первым задать ей этот вопрос. Она предпочла, чтобы это был Анекдот, который не требовал от нее ответа.

Мама преподавала в школе немецкий язык. До тех пор, пока не родились мы... Даже в годы войны она обучала детей языку врага.

Отец и Абрам Абрамович рассказывали, что в маму влюблялись ученики – почти все поголовно. Так что Даша унаследовала то мамино достоинство, за которое большинство женщин, как объяснял Игорь, отдали бы, не колеблясь, все, что имеют. Ибо ничем не стремятся они владеть в таком количестве, как трепещущими мужскими сердцами. Прав ли был Игорь? Я так и не знаю.

Игорь высказывал убежденно свою теорию, а Анекдот, быть может, меня утешал. Вообще, имя Серега чаще всего вспоминали в тех случаях, когда сочувствовали мне или что-нибудь желали вдолбить мне в голову.

– Даже двоечники, даже дебилы у мамы имели пятерки, – рассказывал нам Анекдот. – Не хотели позориться перед Юдифью Самуиловной.

Отец же, пока не ушел на фронт, ежедневно встречал маму возле школы. Ограждал!.. От поклонников школьного возраста – впрочем, не столь уж далекого от возраста мамы. И к ним ревновал!

Анекдот соболезнавал отцу и даже, мне казалось, был благодарен за то, что тот останавливал возле школы влюбленных с ранцами и портфелями.

– Я старалась убедить учеников, что преподаю не язык Гитлера и Гимmlера, а язык Гёте, Баха, Бетховена, Шиллера, Гейне... Они вместе со мной ужасались тому, что один маньяк с помощью банды единомышленников сбил с дороги и увлек за собой великий народ, – вспоминала мама.

– А что другой маньяк увлек за собой другой великий народ – этому мы почему-то не ужасаемся. Простите меня, Юдифь...

Мама, как и Даша в другом разговоре с Анекдотом, знала, что можно не отвечать.

Помню, позднее Анекдот размышлял:

– Сталин и Гитлер... Долго они действовали параллельно и почти одинаково, но, согласно геометрическому закону, не пересекаясь. И вдруг – бац! – тридцать девятый год. Параллельные пересеклись и где-то даже соединились. Это в математике существуют аксиомы, а политика живет

вне законов и правил.

Мама, умевшая все на свете, умудрялась также накормить и одеть нас пятерых всего на одну зарплату врача. Еврейский Анекдот тоже был членом нашей семьи. Не считался, а был. Он упрямо пытался всучить маме и свой, вынужденно скромный, заработок. Но мама столь же упрямо отвергала эти попытки:

– Вы и так много нам дарите!

– Это вы мне дарите... – отвечал Анекдот, имея в виду, как я понял, маму... и всю нашу семью.

Тогда он стал вместо денег незаметно оставлять на кухне продукты. Тут уж она не обижала его отказом. Но, как правило, на другой день мама – так же незаметно – переправляла их из нашей отдельной квартиры в *его* коммунальную. Дверь своей комнаты Абрам Абрамович не запирали: соседи любили его и нежно называли Абрашей. Они «бдительно», как говорили в то время, оберегали и его вещи, которых почти не было, и его самого.

Работать в школе мама, к ее сожалению, не могла. Но выкраивала время, чтобы по вечерам преподавать язык Гёте и Шиллера «в частном порядке».

Отец, продолжая терзаться ревностью, следил, чтобы обучала она исключительно школьников, да и то учеников не старше шестых классов.

Мало кому известный Абрам Абрамович тоже по вечерам и тоже «в частном порядке» редактировал статьи и книги знаменитостей. Заработанные таким образом «бесценные», как он называл их, деньги Анекдот тратил на свои мелкие расходы и на наши, детские, которые по значению были для нас огромными: на мороженое, сладости, билеты в кино. И на книги, которые мы выбирали по совету Абрама Абрамовича.

Сейчас, через годы, я до конца осознал, что и он тоже был нашим отцом. По всем параметрам, кроме родительской крови.

Мама была обаятельно умной. Мне даже казалось, что не глупей Еврейского Анекдота. Обаяние и такт не позволяли ее уму вести себя заносчиво, а иногда мамина мудрость предпочитала полную конспирацию. Я давно, однако, сообразил, что не только мудрая Дашина артистичность, но и дар психолога брату достались не от отца: нельзя подарить то, чего сам не имеешь. Это было наследство по маминой линии.

Даже то, что являлось для нее очевидным, мама не навязывала окружающим, не вбивала им в головы молотком, как делают некоторые, а высказывала предположительно, предоставляя право усомниться

и в несомненном.

Она не делила свою любовь между нами троими поровну. Даше, которая, как и мама, умаялась от непрошенных обожателей, досталась к тому же и большая часть маминого обожания.

Мы с Игорем знали это – и считали вполне нормальным. Между нами, мужчинами и сестрой, справедливо было отдать предпочтение Даше.

– Но тебе ведь нужна... лишь *его* любовь. И ничья еще? – вслед за Анекдотом деликатно притронулась к Дашиной тайне мама. О чем сестра поведала мне, но через много лет.

– Лишь *его* любовь? А твоя? А отца? А Игоря и Сережи?..

– Это совсем другое. Будь осторожна. Не начинай жизнь со вторжения в чужой дом... в чужую семью.

– Уже поздно, мама. Я вторглась.

С того дня мама, не отключаясь от обязанностей «души семейства» и хозяйки дома, исполняла эти обязанности автоматически, а жила лишь одной, все вытеснившей тревогой: как поступит с Дашей та единственная любовь, которая была ей отныне нужна? Как распорядятся судьбой дочери очарование и незаурядность? «Домашний театр развлечений» как бы выехал из нашей квартиры на гастроли.

– Красивым всегда труднее, – объяснял мне психолог Игорь. – Они ведь уверены, что счастье явится к ним «своим ходом», достанется им по праву. Но его на полдороге перехватывают некрасивые... Которые действуют почти по заповеди Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их – наша задача!»

Тем, кто никогда не влюблялся, как я уже подмечал, легко теоретизировать о любви: личный любовный опыт, не подчиняющийся закономерностям, у них отсутствует и не мешает, не корректирует теории собственными эмоциями.

Абрам Абрамович рассказал как-то по этому поводу анекдот: «Тонет человек... А на берегу суетится еврей и подсказывает спасателям: «Хватайте его за волосы! Не позволяйте ему ухватиться за вас самих!..» – «Если вы так хорошо умеете плавать, нырните и помогите!» – «Я не умею плавать, – отвечает еврей. – Я *понимаю* плавать!»

Игорь тоже не умел, но понимал.

Я же вновь поддался своим субъективным и, быть может, теоретически неверным размышлениям, рожденным страстью к Лиде Пономаревой. И понял, что из капкана, в который угодила сестра, вырваться с чьей-либо помощью невозможно. Ни братья-разбойники, ни папа-Герой, ни мудрость Еврейского Анекдота, ни даже мама ей в помощники не годились.

Мама способна была отстоять отца у потерявшей разум, а потому скорбевшей по Сталину, стиснутой отчаянием и страхом толпы. Она способна была, рожая нас троих в муках, не выпустить эту муку наружу. Но возникла ситуация, в которую мама, со всей ее самоотверженностью, встрять не могла, ибо знала, что исход драмы зависит лишь от двоих.

Однако дочь Ивана Васильевича так не считала. Звали ее Анжелиной. Имя происходило от «ангела», но в ангелы она и сама себя не зачисляла. Впрочем, и в дьяволы ее зачислить было бы несправедливо. Характером она походила на давнюю нашу учительницу Марию Петровну – профессиональную защитницу правды. Есть люди, которые считают это занятие – ложиться костями за истину – своим главным предназначением: вынь да положь им амбразуру или лучше того – эшафот, чтобы умереть за торжество справедливости. Исключительность они делают повседневностью – и общаться с ними поэтому нелегко. Анжелина была такой... Чуть не с дошкольных лет она оберегала мать от рискованных ситуаций. Ее единственное сходство с Дашей было в том, что и Анжелину можно было назвать «хранительницей домашнего очага». Самым святым долгом своим она считала оберегать маму от поклонниц отцовских чар, а отца – от поклонников маминых.

Жена Ивана Васильевича, как, закатывая при этом глаза, рассказывали женолюбцы, была некогда обольстительной опереточной примой. Но однажды, во время бурного канкана на авансцене, приму сразил обширный инфаркт. И Анжелина с тех пор страшилась новой атаки на мамино сердце. Но что атака будет проведена не изнутри, а как бы со стороны, она не ожидала. Поскольку, несмотря на дворцовую роскошь своей внешности, Иван Васильевич слыл не только стерильно образцовым воспитателем молодых актеров, но и стерильно показательным семьянином... Богемность никогда не была для него приметой искусства. Страсть – да еще ко вчерашней школьнице, студентке первого курса – была сокрушением всех норм, которые Афанасьев искренно проповедовал.

Лицо Анжелины с чертами столь же правильными, как и ее намерения, ее правдоискательский характер, выражали постоянную готовность к жертвенности и самосожжению. И вот, наконец, внешний облик афанасьевской дочери получил возможность соответствовать лику ее поступков: реально возникли две амбразуры, на которые поочередно она могла кинуться, чтобы закрыть их собой. Оберегая честь дома, она сперва бросилась лишь на одну из двух амбразур: отрицала вину своего отца

перед семьей тем яростней, чем очевиднее эта вина становилась для окружающих. Иван Васильевич же, не искушенный в изменах, скрыть свою страсть не мог. Он *жил* этой страстью – и даже внешне отречься от нее означало для него отречься от смысла жизни.

Соблазнительность Даши становилась неотразимостью благодаря несочетаемым сочетаниям: библейской молитвенности лица с зазывной улыбкой, которой сдавались в плен без малейшего сопротивления; талии, тонкой до хрупкости, с не девичьей, а женской, дерзко вздыбленной грудью, которой она стеснялась и которую прятала, о чем он ее просил. Афанасьев, в течение десятилетий окруженный и атакуемый женской обворожительностью, впервые лишился всех остальных стремлений, кроме желания видеть ее, ощущать их нежную и потерявшую рассудок неразделимость. Все иные помыслы были вытеснены, перестали существовать.

Ангелине не оставалось ничего, кроме как броситься на вторую амбразуру. Она умудрилась подкараулить Дашу возле нашего дома одну. Это было непросто: в связи с чрезвычайной ситуацией мы, братья-разбойники, стали ее телохранителями.

Подскочив к Даше с фанатичностью террористки, задыхаясь от ненависти и правдолюбия, Ангелина произнесла:

- Предупреждаю тебя... Оставь в покое отца!
- Что я могу поделаться, если покой от него ушел?
- Уйди и ты... из училища!

Даша отличалась немногословием. И тем оглушительнее, тем громогласней были порою ее поступки. На следующий день она написала заявление с просьбой «отчислить» ее из училища.

И тут на защиту Дашиных прав нежданно-негаданно поднялась «ведущая» преподавательница – в прошлом тоже обольстительная, талантливая и обреченная на пожизненную известность, а может, и на посмертную – Нелли Рудольфовна Красовская. Говорили, что настоящая ее фамилия – Крысовская, но что она, изменив одну букву, заменила фамилию псевдонимом.

Нелли Рудольфовна была беззаветно и безответно влюблена в Афанасьева. Полжизни преследовала его с романтическими намерениями, а вторую половину жизни посвятила намерениям мстительным. Беззаветность ее покинула, а безответность породила злую досаду за потерянные годы, которые, как всегда в подобных ситуациях кажется, были не отданы, а *отобраны* и, конечно, «если бы не...», оказались бы феерично счастливыми.

– Нет никого страшней женщин, которые мстят за свою безответную страсть, – объяснил мне все еще ни разу не любивший психолог Игорь.

По натуре истеричка, Нелли Рудольфовна умела усмирять взрывоопасность характера, прикрывая ее следами бывшего очарования.

Прозвище Миледи, раздражавшее Красовскую, не отцеплялось от нее с давних пор. Оно приклеилось и потому, что некогда она исполнила роль неотразимой каторжанки – с прелестью на лице и клеймом на плече – в популярной инсценировке «Трех мушкетеров». Мужчины в те годы, говорят, так заворожено заглядывались на ее плечо, что не замечали на нем клейма. Постоянным амплуа Нелли Рудольфовны стали роли женщин с «отрицательным обаянием». Но все-таки с обаянием.

– Уходить из училища только потому, что Иван Васильевич... Он, как и все мы, прошлое театра, а Певзнер – его будущее.

Красовская и себя вроде не пожалела: она была ровесницей Ивана Васильевича. Но последняя ее фраза на художественном совете относилась исключительно к Афанасьеву:

– Если выбирать из них двоих... я бы выбрала Певзнер. Заявляю четко и смело.

В словесной четкости Красовской отказать было нельзя, хотя поступки отличались хитроумной запутанностью.

Заявление ее прозвучало внезапно и потому, что евреев она не любила. Но Ивана Васильевича *ненавидела!* Его отсутствие на совете позволило Красовской проявить «четкость и смелость».

И еще один человек встал на защиту сестры: студент первого курса Иммануил – латыш, говоривший по-русски, как чистокровный москвич или потомственный петербуржец. Да и по виду, по манерам своим он был более русским, чем русский.

– Скорее сгорит это училище, чем ты уйдешь из него, – заверил он Дашу.

Она испугалась, хотя была не из пугливых, что он может из-за нее поджечь здание училища, которое принадлежало к «памятникам архитектуры». Испугалась, что совершить такое при его характере ничего не стоит.

Это было преувеличением, но и сам Иммануил, почти двухметровый, выглядел «преувеличением».

У себя в Риге Иммануил, как он откровенно поведал Даше, в слабых самодеятельных спектаклях, поставленных по великим шекспировским трагедиям, исполнял роли тех, кто бился на рапирах, – и либо убивал, либо умирал за любовь.

Итак, двух защитников сестра обрела. Но один из них стал таким во имя защиты, а другая исполняла роль адвоката, дабы потом превратиться в прокурора, не знающего пощады. Нелли Рудольфовна Красовская жаждала, чтобы отвергнутого ее Афанасьева настиг приговор.

– Когда женщина мстит, это голгофа! – повторил Игорь, будто сам не раз подвергался женским гонениям. – Лучше иметь врагом шайку ненавидящих мужчин, чем одну ненавидящую женщину!

Но женское самолюбие не только от Нелли Рудольфовны требовало жертвы. Перед сестрой угрожающе возникли те, что всегда возникали на ее дороге: завистницы, которые не могли соперничать с Дашей, потому что женскую прелесть нельзя отвоевать или приобрести.

– Чем низменной причина, тем возвышенной обоснование ее, – давно объяснил мне психолог Игорь.

Иногда мне хотелось сказать брату: «Нельзя быть психологом все время... Дай отдохнуть!» Хотя чаще всего оказывалось, что он прав.

Чтобы разобраться во всем, что происходило, и помочь сестре, мне требовался, однако, не только психологический анализ брата, но нужна была и высеченная юмором мудрость Абрама Абрамовича. Очень нужна... Тем не менее это был единственный случай, когда непреодолимо трагичное, что происходило за стенами нашего дома, мы трое за стенами и оставляли.

Даже маму успокоили, солгав, что все улеглось.

А между тем у Дашиных неприятельниц, как нам стало известно, появился предводитель, или, если иметь в виду бандитское сборище, главарь. К моему ужасу, им скрытно стала Лида Пономарева. Наконец она получила шанс освободиться от соперницы, которую в честном состязании победить не могла. И хоть она все равно обречена была получать в жизни «золотые медали», а Даша в лучшем случае «серебряные», Лида желала числиться «золотоносцем» на законном основании. Для этого нужно было переступить через мою сестру... Свершить подобное у меня на глазах она не могла. И поэтому «предводительствовала» исподтишка. Письменное требование защитить Ивана Васильевича и его семью, а заодно «избавить», «очистить» семью студентов сочинила Лида, потому что там были упомянуты факты из истории нашего школьного театра, о которых знала только она. Злоба оказалась сильнее осторожности.

– Явное сделать тайным бывает сложно, но тайное становится явным всегда, – повторял Игорь.

И тогда я попросил Лиду о срочном свидании... До того мы с ней уже

всерьез договаривались о свадьбе. Теперь же мне предстояло заявить о разлуке. Быть навсегда вместе... Расстаться навсегда... Как это далеко одно от другого, но как оказалось близко!

В прежних разговорах со мной о нашумевшей эпопее Лида хранила неискренний нейтралитет. Ограничивалась фразами о том, что не могла бы полюбить человека, который более чем в два раза старше ее. И бросала на меня взгляды столь ослепительные, что, казалось, перед встречей закапала в глаза фосфор. Эти взоры должны были убедить меня, что она-де способна любить *только* сверстника. И сверстником этим являюсь я. Может, я им и являлся? А то зачем бы я был ей нужен? Никакого корыстного интереса студент первого курса представлять для нее не мог. Корысть вряд ли могло удовлетворить и мое иудейское происхождение.

На последнее свидание Лида явилась такой разодетой, что я окончательно убедился: она виновата. Уловив в моем голосе по телефону незнакомые интонации, Лида решила защититься неотразимостью. Но пустить в ход оружие, на которое рассчитывала, не удалось.

– Мы с тобой расстаемся, – сказал я.

– На сколько?

– Навсегда.

– Как? Почему?!

– Не хочу *объяснять* то, что тебе и без меня известно.

У психоневролога – даже будущего – должна быть здоровая психика и крепкие нервы.

Я повернулся... И пошел прочь.

– Я говорила, предупреждала, что зов крови окажется в нем сильнее зова любви! – произнесла, утешая Лиду, в тот вечер ее мама.

При нечаянных встречах Лида непременно цитировала эту фразу.

«Как я смог уйти... так спокойно? Так быстро? – недоумевал я вслух. – И не особенно мучиться?!»

– Потому что ты не любил ее. Ты ее желал! – объяснил брат-психолог.

– Что? Как ты сказал?

– Ну, *хотел* ее. Понимаешь, хотел! Интеллигентные люди произносят: «желал». Но это одно и то же.

– Желал? Уже в детском саду?

– Ты у нас очень способный. Но, вообще, это и у других начинается рано. – Со странным, мутным лукавством он продолжал: – Чаще всего ты смотрел на ее ноги, на ее грудь. Гораздо чаще, чем на лицо.

– Это неправда!

– Успокойся, Серега, я бы поступал так же: было на что посмотреть.
– Я запрещаю тебе... Запрещаю так говорить о ней!
– Ревнуешь? Значит, все же любил. Я устроил психологическую проверку. Не обижайся!
– Я Лиду любил! И не зов крови оттолкнул меня, а зов протеста.
– То, что не зов крови, я верю. Но и не только протест... – возразил Игорь. – А на будущее учти: стерв любят гораздо сильнее, чем порядочных и бескорыстных. Так что можно считать, что подвиг ты совершил исключительный: Пономарева ведь стерва не рядовая, а исключительная.
Он был не только психологом, но и циником. Или реалистом...
А может, это синонимы?

В тот же день – тот же самый, я перепутать не мог! – телефон зазвонил поздно, когда отец, как обычно, заставил маму выйти с ним перед сном прогуляться. Меня с Игорем он не заставлял: мы и так прогуливались больше, чем, по мнению родителей, было необходимо.

– Позовите Дарью Певзнер, – не попросил, а потребовал неведомый мне голос, который никому не мог быть знаком, потому что как бы не принадлежал звонившей. Голос принадлежал потрясению, которое отобрало возраст и все другие особенности. Я позвал сестру.

– Поздравляю тебя, – сказала Ангелина Афанасьева. – Моя мама умерла.

И бросила трубку. Многоточия «занято» долго звучали в трубке, которую Даша одеревенело держала в руке.

Жена Афанасьева умерла. Сам он не ходил, а слепо и бесцельно передвигался, словно полуживой. Я впервые видел, как любовь и горе калечат людей. И как люди людей добивают.

Миледи из романа Дюма обретала злодейство в схватке. И Нелли Рудольфовна тоже... Она слилась с тем давним сценическим обликом, он со вновь приобретенной силой овладел ею. Или окончательно совпал с ее собственным обликом. Так или иначе, но полутруп Афанасьева ее не устраивал – ей нужен был труп. Она желала, чтобы скончалась репутация Ивана Васильевича, его авторитет, чтобы его режиссерская слава затмилась постыдной сенсацией. «Совратитель не смеет воспитывать!...» – эта фраза Красовской, прозвучав на художественном совете, заставила Афанасьева онеметь: оправдываться он не мог. «Обсуждать» отношения с Дашей было немыслимо. А вступать в сражение с женщиной он считал бы позором. Забыл, наверное, в своем потрясении, что д'Артаньян с Миледи все же сразился.

По раскаленному убеждению Нелли Рудольфовны, Афанасьев отнял жизнь, прежде всего, не у жены – до жены-то ей не было дела, – а у нее, которая прождала и пыталась покорить его долгие десятилетия, но так и не дождалась, не покорила. Она беспрестанно воображала ту дорогу цветов, по которой бы шествовала, если б в начале дороги не встретился он. Не зуб за зуб и не око за око нужны были ей, а лишь жизнь за жизнь. Четверть века назад она тайно, сама с собою наедине мечтала поступить с женой Афанасьева так, как поступила с ней судьба ныне. Но сейчас это не останавливало Нелли Рудольфовну: она, как многие люди, не ставила себе в вину то, что вменяла в вину другим.

И даже тот неоспоримо преступный факт, что это ее стараниями было доведено до сведения больной афанасьевской жены о «романе мужа с девчонкой», не содрогал Красовскую. Она не сомневалась, что поступила достойно и нравственно. Сравнив мимоходом, между прочим восемнадцатилетнюю Дашу с тринадцатилетней Лолитой, Красовская чуть было не закрепила за ней это прозвище. Но почти двухметровый и не бросавший угроз на ветер Имант, узнав о «Лолите», предупредил тех, кто возле него оказался:

– Если еще раз услышу, не прощу!..

Его предупреждение чудом услышало все училище, а прозвища не слышал больше никто.

Тогда Нелли Рудольфовна стала именовать Дашу «бедной девочкой».

– Я – не бедная, – возразила сестра. – А Иван Васильевич – лучший из людей!

Мне вспомнилось, что в ответ на слова Анекдота, обращенные к отцу: «Как ты теперь выйдешь на улицу?» – мама сказала: «Я выйду с ним».

Новый прилив бешенства одолел Нелли Рудольфовну: она, в конце концов, дождалась, что он полюбил... но другую, годившуюся не только ему, но и ей в дочери, а *та* полюбила его. Красовская чувствовала себя обманутой дважды. Нет, тысячу раз! Смерть жены Афанасьева нашептывала ей это...

Миледи стала очумело метаться, искать оружие мести. И хоть было не до юмора, в памяти внезапно возник анекдот, рассказанный Абрамом Абрамовичем: «Муж застаёт дома жену с возлюбленным. Он ищет пистолет, но нет пистолета. Ищет – топор, но нет топора. Ищет нож, но и ножа нет. Тогда возлюбленный жены, чувствуя себя в безопасности, говорит: «Вы можете меня только забодать!»

Нелли Рудольфовна отыскиала иное оружие... Она убедила дочь Афанасьева Ангелину, что Иван Васильевич, убийца жены, не смеет

присутствовать на похоронах своей жертвы, что это будет кощунством, сотрясением всех моральных заповедей и норм.

На здании училища Нелли Рудольфовна траурный флаг не вывесила, но в траур училище погрузила. Прощались не с женой Афанасьева, а с матерью Анжелины... И у других студентов Театрального, увы, уходили из жизни родители. Но в день их похорон занятия на целом курсе не отменялись, не вывешивались портреты в прямоугольных черных рамках и поминки в училище не устраивались.

Иван Васильевич лишился жены, дочери, репутации.

В день похорон, утром, Даша сказала нам с Игорем:

– Я думаю, он дома... один... Вызовите его на улицу.

Афанасьев в помятой, будто арестантской, пижаме, как приговоренный, сидел на диване. Лицо из-за небритости не выглядело холеным. Я понял, что дворцовая внешность, как и сами дворцы, должны поддерживаться и охраняться от разрушения. Иван Васильевич смотрел на портрет жены. Она на той цветной фотографии была Марицей... Пышно взбитая юбка шаловливо, но в меру приподнятая актрисой, обнажала молодые, налитые ритмом и стройностью ноги. «От Марицы до больницы»... Я вспомнил фразу, произнесенную кем-то, как рассказывали, после первого инфаркта той, которую именовать «шансоньеткой» и «дрыгоножкой» было уже безбожно. «Даже от самого буйно жизнерадостного канкана, – подумал я, – не только до больницы, но и до кладбища, оказывается, недалеко».

Дверь нам открыла Нина Васильевна, сестра Афанасьева и наша бывшая учительница литературы. Она не поздоровалась и ушла на кухню. Стало ясно, что Дашу она считает источником не только трагедии брата, а и своего личного бедствия. Она потеряла то единственное, чем дорожила, то долгожданное, что сумело победить ее одиночество. Но не надолго... Можно было сказать: «Подумаешь, школьный театр!» Но потеря театра означала для нее потерю последнего проблеска в жизни.

Как и Иван Васильевич, она стала мишенью для скандальных, сенсационных насмешек и обвинений. Политическая «оттепель» все чаще сменялась заморозками. А разоблачения опять вошли в моду. Они редко опровергались. Обвинять вновь стало считаться доблестью, проявлением верности системе и государству, а защищать – подозрительным уклонением от «гражданского долга».

Директор нашей школы от «долга» не уклонялся. А уж в афанасьевском деле – термин «афанасьевское дело» витал в воздухе – директор был яростен и неукротим.

– Где ваше педагогическое чутье? – визгливо наступал он на Нину Васильевну. – Не уловить запаха аморальности в этой истории! – Она уловила запах похмелья, следы вчерашней директорской выпивки. – Мыслимо ли было из какой-то там Певзнер сотворять звезду? Разве что шестиконечную! Благо еще, самое мерзкое случилось за стенами школы. Но все равно и мы опорочены: пробили – они все пробивают! – серебряную медаль вместо волчьего билета. За моей спиной в буквальном смысле этого слова: у меня был радикулит. – Радикулитом именовались запои. – Разрушила семью, содействовала смерти замечательной женщины...

Покойную жену Афанасьева, которую ни в школе, ни в училище никто ни разу не видел, не сговариваясь, провозгласили «замечательной женщиной». Может, она такой и была? Но им-то откуда было известно?

– Ненавистники и добрые слова обращают во зло, – пояснил Игорь.

Директор школы, один из тех самозванных судей, о которых недавно размышлял Анекдот, и приговор вынес:

Я запрещаю вашему братцу переступать порог нашей школы! – Он выскочил из-за стола и, устремив свой нос-миноискатель прямо в душу Нины Васильевны, возопил: – Запрещаю! И в училище сообщу, что так называемый «театр» мы закрываем. Из-за непотребного поведения его руководителя, которого и на тысячу километров нельзя подпускать к подрастающей смене!

Это была запоздалая ответная пощечина.

Узнав, что Даша внизу, Афанасьев прежде всего схватил с полки электробритву. Не глядя, попал «вилкой» в розетку и стал утюжить лицо так энергично, словно от этого зависело для него нечто самое важное и решающее. Тщательно проверил ладонями результаты бритья... Из множества рубашек, что висели в шкафу, прижавшись друг к другу, как в магазине, он автоматически выхватил ту, которая, я еще раньше заметил, более всех шла ему. С той же автоматичностью, не выбирая, как актер наизусть произносит данные ему реплики, вытянул галстук под цвет рубашки. И с несвойственной ему суетной поспешностью исчез в другой комнате. Он боялся, что Даша не дождетя его.

Минуты через три он вернулся в костюме, отутюженном, как перед премьерой.

Иван Васильевич с не покидавшей его судорожной торопливостью прошел в коридор, вовсе позабыв и о портрете жены, и о нас с Игорем. Хлопнул входной дверью.

А на пороге появилась Нина Васильевна.

– Он сошел с ума? – спросила она.

– Разве из-за любви не сходят? – ответил Игорь без своей излюбленной ироничности, а столь всерьез, что учительница, похоже, смирилась на миг с сумасшествием брата. Или – тоже не более чем на миг – сочла его сумасшествие закономерным.

Даша ждала Афанасьева возле подъезда. Она не спряталась во дворе, не укрылась внутри подъезда, а стояла на улице, где ее видели все: жильцы дома, прохожие. Она не прикрывалась какой-нибудь скорбной одеждой, хотя и не выглядела явившейся на свидание. Она была такой, как обычно. Обычно же одевалась со вкусом, не звавшим просчетов и вполне соответствовавшим тому безупречному вкусу, с которым сама была создана.

Даша воспринимала все происшедшее – кроме смерти! – как неизбежность: если б Афанасьев не полюбил ее, к нему бы все равно не вернулись те чувства к жене, которые уже увяли, испепелились.

Иван Васильевич как-то сказал ей, что любовь реанимации не поддается. И Даша начала страшиться смерти... Но не физической, а смерти его любви. При мягкости и женственности своей сестра была максималисткой: она неколебимо решила, что, если это когда-нибудь произойдет, она ни секунды не будет добиваться возвращения умерших, не поддающихся реанимации чувств. Даша поняла: самое естественное в проявлении души человеческой – любовь – чужда искусственному воздействию и не реагирует на него, какие бы усилия ни прилагались.

Афанасьев не выбежал, а вырвался из подъезда, как вырываются из неволи на волю.

– Ты пришла?

– Чтобы быть с вами.

«Даже сейчас?» – спросил его взгляд.

– Сейчас... и когда захотите! – ответила она вслух на его непроизнесенный вопрос. – Я ведь сама все начала. И первой отважилась сказать, что люблю.

– Но со сцены, – оправдывая ее, проговорил Иван Васильевич. – Зрители это приняли на счет Ромео.

– Хоть на счет Ромео, хоть на свой собственный! – ответила Даша с твердостью, которая вот-вот могла не выдержать и разбиться, подобно прочному, но сверх меры перегревшемуся сосуду. – Говорила я это вам. И вы меня поняли...

Она могла бы называть его на «ты», для этого были к тому времени все основания, но называла на «вы», лишь таким образом подчиняясь возрастному разрыву.

Мамина внешность иногда оказывалась обманчивой: предвещая неясность и доброту, она не предвещала подвижничества, отваги, – и тех, кто маму не знал, эти ее достоинства заставляли врасплох. По-маминому внешне сдержанная и даже застенчивая, Даша не боялась предрассудков и осуждений. Поэтому прямо на улице, на глазах у прохожих, она с виноватой внезапностью припала губами к породистой, впечатляюще крупной руке Ивана Васильевича. Несмотря на свою мощь, она задрожала... Тогда Даша прильнула лицом к другой его руке и тоже коснулась ее губами.

– Все начала я, – повторила сестра. – И грех пусть будет на мне.

– Нет-нет... Никогда! Ни за что... – бурно воспротивился он как мужчина, не смеющий перекладывать неподъемную тяжесть на женские плечи.

– Грех – мой! – настаивала сестра. – Но все равно... Я не могу без вас.

– И *не сможешь?* – спросил он осевшим голосом.

– Не смогу.

– Жену хоронят... А он уже еврейку нашел! – бросила камень какая-то женщина, злобно грохнувшая дверью подъезда.

Ни Даша, ни Афанасьев ее не увидели, потому что в глазах у них помутилось.

«Какое ей дело до нас? До него? До меня? До моей национальности?» – думала Даша. По молодости она не осознала еще, что людям всегда есть дело до чужих дел. И чем интимней чужое дело, тем упорней посторонние склонны в него вторгаться.

«Уже еврейку нашел!» А если б она была русской, никакого греха бы не было?

Административные решения не принимаются на похоронах и поминках. И на них не принято сводить личные счеты. Но Нелли Рудольфовна вознамерилась использовать для своей мести как раз прощание с женой Афанасьева.

Долго она и ее студенты воздавали должное покойнице, о которой почти ничего не знали. Это напоминало экзамен в Театральном училище: будущие актеры выполняли «творческое задание» своего педагога и разыгрывали сцену, которую она поручила им разыграть.

Но когда тризна близилась к завершению, Красовская, артистически

талантливо соединив печаль с гневом, обвинила Ивана Васильевича в разрушении семьи, которую десятки лет сама пыталась разрушить. Она давно замыслила также, изгнав Афанасьева из училища, взойти на его пост – и хоть подобным образом победить. Пусть не его сердце, а его самого...

Нелли Рудольфовна не преминула вспомнить о своем педагоге, одном из тех, кто в кабинете взирал со стены. Сообщила, что она «всем обязана», но что он, как только пристрастился к «бегам» и картежной игре сильнее, чем к искусству, сам покинул училище.

– Ибо воспитание – святая миссия, и исполнять ее могут только святые!

Из этих слов явствовало, что Иван Васильевич, не оказавшись святым, должен, подобно воспитателю Красовской, уйти «по собственному желанию». О себе же Нелли Рудольфовна, опустив глаза в тарелку, сказала:

– Служение театру и училищу не позволило мне даже создать семью.

Дочь Афанасьева Ангелина сидела в центре стола. К ней обращались, ей выражали соболезнование, но она, потерявшая мать, именно там, на поминках, ощутила себя сиротой. Круглой сиротой... Ей не хватало отца. Виновен он был в смерти матери или нет, но люди, сидевшие рядом и напротив, заменить его не могли.

Стол понемногу становился нетраурно шумным: студенты уже переговаривались друг с другом, рассказывали истории, не имевшие отношения к ней и ее семье. Семей был отец. Она не подпустила его к могиле. За то, что он влюбился в другую женщину... В их доме было известно, что мама тоже в кого-то влюблялась. Может, она даже изменяла отцу?

Мама без конца повторяла, что именно отец сделал ее опереточной примой. Он без устали «прогонял» дома сцены из ее спектаклей. Она гораздо меньше интересовалась его искусством, потому что уставала от своих премьер и гастролей. Он же не уставал.

Мама выглядела легкомысленной и беззащитной. Легкомыслие отец ей прощал, ибо считал, что оно соответствует опереточному жанру, маминому амплу, а от беззащитности ее отечески оберегал. Мама была вторым ребенком в афанасьевской семье, как бы старшей сестрой Ангелины. А иногда казалась и младшей.

Они с отцом прожили четверть века. Вправе ли одна история, возникшая, быть может, не по воле отца, а сама по себе... зачеркнуть все эти годы? И ей ли, появившейся на свет благодаря любви матери и отца, это решать? И почему тут расселись люди, которые не сидели, как отец, возле ее постели, пока она в детстве не засыпала, не внушали ей любовь

к театру так заботливо и одержимо, как это делал он? А разве не он углядел в ней актерский дар, которого, возможно, и не было? Углядел и стал опекать... Они расселись, многие забыли, по какому поводу собрались и за чью память «опрокидывают» стаканы, поскольку рюмок в столовой не оказалось. А его нет... Не он ли должен быть с ней в дни горя, мучительней которого она еще ничего на свете не испытала?

«История» потрясла маму именно потому, что отец был редкостно верен дому. Мама до болезни общалась со Штраусом, Кальманом и Легаром больше, чем с реальностью жизни, от которой ограждал ее муж. Так было и после болезни: она «освоила» роли, не требовавшие бурных страстей и бурных канканов. Отец, столь знаменитый и величественный, после ее инфаркта не считал для себя унижительным и хозяйственные заботы. Мама привыкла ко всему этому, и когда ей участливо донесли... у нее не хватило иммунитета.

Зачем ей было узнавать о том, что произошло? Кто позаботился об этом? Не отец же ей доложил. Но кто?! Мама была далека от училища. Стало быть, кто-то не пожалел сил, чтобы нанести ей удар? Для чего? И кто это сделал?

Правда, еще до того, как маму ввели в «курс событий», сама Ангелина начала замечать, что отец продолжал быть «идеальным мужем» как-то рассеянно, по инерции... Мама, по легкомыслию своему, не насторожилась, не обратила на это внимания. Кто же заставил ее обратить? Впрочем, какая разница? Мамы уже нет. Так что же, потерять и отца? А разве в заключении о маминой смерти написано, что она погибла из-за него? Сказано: «Инфаркт миокарда». А все остальное – лишь догадки, предположения... Имеет ли право она, дочь, делать предположения утверждениями?

Слушая Нелли Рудольфовну, Ангелина чувствовала, что обязана ей возразить. Несколько раз порывалась. Но что-то останавливало ее. Устраивать на поминках, посвященных маминой памяти, споры, скандал? Вот если Миледи еще чем-нибудь обидит отца...

На могилу жены Афанасьева в тот день был возложен венок и от школы, давшей нам, троем близнецам, образование, которое кто-то когда-то обозвал «средним». Венок возложил лично директор, так как семья Афанасьевых имела отношение к школе: муж покойной руководил школьным театром, уже наглухо закрытым и категорически запрещенным, а его сестра преподавала литературу.

На поминках директор, приглашенный Красовской, устремив носомискатель в дочь Ивана Васильевича, выразил ей сочувствие по случаю смерти матери и в связи с «моральной смертью отца», за которого дочь, естественно, не отвечает.

Это была попытка ответить двумя пощечинами на одну. Готовясь к реваншу и боясь его сорвать, директор весь вечер не пил, что стоило ему немалых усилий.

Ангелина вдруг почувствовала, что перед ней амбразура, не накрыть

которую собой она уже не имеет права. Эта амбразура и раньше виделась ей. Но была не так близка, не так угрожающа. А теперь...

Унаследовав рост отца, она возвысилась над директором школы, который стоял с поднятым стаканом, наполненным, казалось, его слезами.

– Мой отец жив... – произнесла Ангелина так, будто собралась вызвать на дуэль каждого, кто считает иначе. – Да, жив!.. И судить его здесь никто не имеет права. – Словно цитируя Абрама Абрамовича, с которым она не была знакома, Ангелина добавила: – Слишком много судей для одного подсудимого, вина которого не доказана. Я люблю отца... и почитаю его... – Она повернулась к директору школы: – А вас я не знаю. И не приглашала сюда.

За вторую пощечину директор получил сдачи.

Он опустил на стул, нелепо продолжая держать стакан, так и не осушенный. Уловив это своим носом, он по-алкогольному разом, словно водку, влил себе в рот вино и сделал вид, что ничего не произошло. Как тогда, на школьном спектакле.

А спектакль, поставленный Нелли Рудольфовной, явно срывался. Она, подобно режиссеру на репетиции, вскочила со стула, сделала два неритмичных хлопка, привлекая к себе внимание «действующих лиц»:

– Не будем превращать прощание в конфликт! Каждый имеет право на свою точку зрения. – При этом она взглянула на директора, давая понять, что солидаризируется с ним. – Чувства дочери мне понятны. Я тоже любила отца... хотя он был...

Нелли Рудольфовна, попытавшаяся провести некую негативную аналогию между своим отцом и Иваном Васильевичем, не договорила. Ангелина поднялась, возвысившись над Красовской, и направилась к двери. Марш Шопена, время от времени возникавший в студенческой столовой, где были поминки, зазвучал траурным маршем по замыслу Нелли Рудольфовны.

Лечить надеждой... Это стало принципом моего врачебного метода. Отобратить надежду все равно что отобратить сердцебиение. И хоть мечты сбываются редко, они обязаны пульсировать, не замирая, как не останавливается дыхание. Оно может прекратиться лишь навсегда. Так и надежда: покинув, она убивает.

После поминок я убеждал себя, что Дашина надежда уже «на коне»: дочь перестала быть противницей своего отца. А перестать быть противницей, если речь идет о матери или отце, значит стать союзницей и защитницей. Судьба же Афанасьева была и судьбой нашей сестры.

– Не горячись, Серега, – остудил меня Игорь. – И вспоминай Менделеева.

– А ты не забывай, что я в медицинском – и с Менделеевым не расстаюсь!

– С его таблицей?

– В том числе.

– С химической? А я – о психологической, которая столь же загадочно безошибочна. Помнишь, я как-то цитировал «Ярость врагов с робостью друзей состязается...»? Увы, «против» чаще всего энергичней, чем «за». Нелли Рудольфовна станет неистовой уничтожать Афанасьева, чем Ангелина его защищать.

– Родного отца?

– Обращаться с чужими не столь ответственно, а стало быть, легче, чем со своими, родными: там все сгодится, там можно не осторожничать... Пока Ангелина, как и мы, начнет раздваиваться или «раздесятеряться» противоречиями, Красовская, не ведая сомнений, будет действовать. Ты увидишь!

Я увидел... Сначала в газетах. Если то, что влюбленные говорят друг другу наедине, или то, что они наедине делают, воспроизвести на бумаге или звуковой пленке, романтика и лирика покажутся пошлыми, чистота – несмысливаемо грязной, а искренность – примитивной и грубой. Принадлежащее двоим не может быть достоянием многих, а тем более – «всенародным достоянием». Но как раз таким и попытались сделать отношения Афанасьева с нашей сестрой.

Он, многоопытный, по-арбенински все испытавший, выглядел губителем неискушенной души. Даше от этого было не легче, чем Ивану Васильевичу. Наоборот... Она чувствовала себя предательски виноватой не только перед кем-то изобретенной моралью бесцеремонности, перед покойной афанасьевской женой, но прежде всего перед ним. Возражать, уточнять факты она не могла. И однажды, в четыре утра, что-то неведомое, но и неотвратимое заставило меня проснуться, не встать с постели, а, отбросив одеяло, вскочить... Мама с отцом спали в одной комнате, Даша, лет десять назад отделившись от нас с братом, в другой, Игорь – на кухне, а я – в коридоре. Люди не должны так жить, но жили... Это чему-то противоречило? Но *все* противоречило *всему* – и восставать против этого было бессмысленно. Многие даже завидовали нам: нет соседей!

Даши в ее комнате не оказалось. Это я определил сквозь сумрак еле пробивавшегося рассвета. Не было сестры и на кухне... Я распахнул так,

будто выломал, дверь ванной комнаты, где все необъединяемое было объединено. Даша склонилась над раковиной. Я схватил сестру за плечи и повернул лицом к себе, порвав ночную рубашку. Левый рукав был в крови... Кровь, не торопясь, будто задумчиво вытекала из Даши. Алой, медленной струйкой из нее вытекала жизнь... И это не было кинокадром или сценой спектакля, а происходило на самом деле.

– Ты убиваешь маму...

Я сказал только эту фразу. Всего одну... Но Даша, белая, а не бледная, услышав три моих слова, отбросила в раковину отцовскую бритву и зажала вену левой руки с такой неженской, сверхъестественной силой, которую даже я физически ощутил. Как она, эта сила, сбереглась в ней? Один Бог знает...

Те три слова, от которых зависела судьба всей нашей семьи – об Афанасьеве я не думал, – были произнесены как бы не мною (я заметил, что часто слова, произносимые человеком в экстремальных обстоятельствах, принадлежат не его голосу, а его страху, его ужасу или, напротив, его почти обнаженной воле). Именно так, вроде не сам, я, миновав длинную череду лет, гипнотизировал больных, заставляя их отбрасывать в сторону если не бритвы и яд, то роковые решения, окаянную тяготу безнадежности. Словом можно наклепать беду, но и словом же можно ее отвратить. Интонация, некрикливая мощь и непреклонная внушаемость той фразы остались во мне навсегда. Но это я понял после.

Тогда же я схватил полотенце и зажал им Дашину руку чуть выше запястья с той же силой, которая невесть как явилась и ко мне. Невесть как...

Даша, не разлучившись ни с маминой красотой, ни с отцовским мужеством, стала незаметно и неслышно одеваться у себя в комнате.

– Ты куда? – без спроса заглянув к ней, спросил я.

– В пункт.

– Какой пункт?

– Неотложной помощи.

Он был как раз у нас за углом.

– Я с тобой... А что, плохо?

– Надо, – ответила Даша. – И поскорей!

– Ты боишься?

– Чтобы не проснулись мама и папа, – ответила она.

Я любил чепуховые тайны. Но тут возникла тайна, которую я обязан был сохранить. Навсегда ото всех!

Пункту неотложной помощи, по логике всеобщей нелогичности, которая властвовала в государстве, надлежало оказаться закрытым. И какая-нибудь бумажка на двери должна была объяснять, в какое время пункт будет спасать, а в какое неотложная помощь будет «отложена».

Однако в пункте дежурили врач и медсестра... Оба оказались пожилыми и очень бдительными. Они не выразили ни сочувствия, ни опасений. Не бросились останавливать кровотечение. А прежде всего сделали то, что осуществлялось у нас всегда прежде помощи и прежде спасения: записали фамилию, имя и отчество, «место учебы». Странно, что национальностью не поинтересовались.

Затем в книге записей появилась строка: «Попытка самоубийства».

– Можно это вычеркнуть? – спросила Даша.

– Нет, – ответила медсестра, халат которой не свидетельствовал о стерильности и даже об аккуратности.

– Но, может быть, все-таки... – вмешался я. – Должны ведь быть... тайны.

Но тайны любили мы с Игорем. А медсестру, лицо которой, как и лицо врача, напоминало печеное яблоко, залежавшееся на тарелке, не загипнотизировали бы никакие просьбы и интонации. В сфере тайн для нее существовала лишь «тайная полиция», которой наутро и полагалось «доложить о случившемся». Оповестить – вот что считалось первым долгом этих целителей. Потому что всякая неотложная помощь связана с чрезвычайностью. А всего необычного в стране опасались. Поскольку клин вышибают клином, комиссию по искоренению чрезвычайного нарекли чрезвычайной – сокращенно ЧК. Впоследствии ее, как бы заматывая следы, переименовывали, но суть оставалась все той же. Вот и пункт неотложной помощи стал пунктом повышенной бдительности. Для самих же целителей из «неотложки» попытки самоубийства, попытки переступить через жизнь стали такими же заурядными, как попытки перепрыгнуть через веревочку, в результате чего тоже бывают травмы.

Врач, пенсионно уставший, не пожурил Дашу, не поинтересовался, хотя бы для вида, почему она решилась на крайность.

Не помыв руки, он стал накладывать швы. Даша, которая, как и мама, была фанатически аккуратна, отвела глаза в сторону. Врач этого не заметил. А она, утешая себя, подумала, видимо, что он помыл руки заранее.

Покончив со швами, он сказал медсестре:

– перевяжите. Бинт-то у нас остался?

– Есть, – бесстрастно доложила она.

На следующий день Дашу вызвала к себе Нелли Рудольфовна. Оккупировав афанасьевский кабинет, она уже восседала в окружении великих и величайших, взиравших со стен. С представительницей семьи Певзнеров великие познакомились, как до этого с двумя другими ее представителями, в обстоятельствах накаленных, что, впрочем, на выражении их лиц не отразилось.

Нелли Рудольфовна подошла к Даше и, как «бедную девочку», попыталась погладить, поцеловать. Но сестра от сочувственной нежности уклонилась.

Вернувшись в кресло, Нелли Рудольфовна произнесла:

– Я временно исполняю обязанности Ивана Васильевича, которые сам он, к нашему прискорбию, достойным образом не исполнял. Или не понимал, в чем они заключаются.

Она изрекла это таким тоном, что Даша поняла правоту психологических предсказаний Игоря: Красовской мало было афанасьевских утрат и его горестей, – ей нужна была его *голова*. Забыв о перевязанной руке и обо всем, что случилось ночью, сестра поднялась со стула и ответила:

– Он ни в чем не повинен. И не пытайтесь судить. Я его защищу! Можете не сомневаться.

– Я и не сомневаюсь.

– Ангелина, дочь Ивана Васильевича, мне поможет.

– А вот в этом я усомнюсь.

Наш домашний психолог Игорь в этом тоже не был уверен.

Ненависть, только что нацеленная на Ивана Васильевича, мгновенно распространилась на Дашу. Глаза следовательски вонзились в сестру вопросом: «Ты любишь его?» Еще не облетевшая по-осеннему внешняя значительность Нелли Рудольфовны была значительностью мщения, зла, о которой брат-психолог предупреждал. «Ты любишь его! И, в отличие от меня, не безответно. Но без ответа с моей стороны этот его ответ не останется!» – вот что думала Нелли Рудольфовна. Или, по крайней мере, так Даша расшифровала ее мысли. «Нет, он не уйдет от ее расправы», – ужаснулась сестра.

Даша вдруг ощутила, что болезненно жалеет Афанасьева.

То, что произошло в предрассветный час, обескровило не только лицо сестры, но и что-то в душе ее. Говорят, первая любовь самая сильная. Это красиво звучит, но сопротивляемости и опыта у первой любви не хватает. Поэтому, может быть, первая редко оказывается последней.

Лишенная запаса прочности, не научившаяся еще противиться жизненным хитросплетениям, она погибает, сохраняя память о себе до конца дней у тех, кто ее испытал. Память о ней и правда непобедима. Но не сама любовь... Иногда тонкий росток ее проявляет стойкость, упорство, а все равно оказывается слабее тех, кто хочет его затоптать: соперников, или родителей, или Нелли Рудольфовны... а иногда бессердечных стечений обстоятельств, случайных, но жестоких перипетий.

В любви нет аксиом и канонов, но, повторяюсь, навсегда или даже надолго первая страсть побеждает нечасто. Ее олицетворяет не глубина, а восторг.

В Дашиной любви к Афанасьеву были и девчачий восторг, и преклонение еще ничего не достигшей юности перед знаменитостью и талантом. Но корысти не было... Она никак не сплетала величие Ивана Васильевича со своими ролями, с Театральным училищем, со своей артистической будущностью. А все-таки восхищалась им больше, чем любила его.

– Нельзя, Серега, испытывать любовь: она не выдерживает испытаний, – с циничностью исследователя, препарирующего даже человеческие чувства, сказал как-то Игорь.

– Смотря какую любовь, – возразил Абрам Абрамович. – Ваша мама отпустила мужа на передовую, хотя могла и не отпускать. Она не посмела перечить его отваге. Но главное то, что она ждала его с передовой, откуда мало кто возвращался. Ждала днями, ночами, сутками...

Анекдот не знал, что в Дашином сердце раньше восхищение было выше любви, а сейчас выше нее стала жалость. Восхищение и жалость существовали не изолированно от любви, но, к сожалению для Афанасьева, она была им подвластна, а не *они* ей.

«Значит, я в своих чувствах не так беззаветна, как была мама, – думала сестра. – Преклонение мое зависело от его величия. А когда величие снигло... преклонение сменилось жалостью. Я боялась смерти его обожания больше, чем собственной смерти. Неужели то была лишь истерика чувств?! И нужна ли ему моя жалость, если даже она способна на жертву?»

Даша знала, что жалеть – по мнению иных «теоретиков» – как раз и значит любить. Но вдруг усомнилась в этой теории. И даже отвергла ее, предпочитая не вводить себя в заблуждение.

Красовская оставалась красивой, если красота, как и обаяние, может быть «отрицательной». Медсестра же в пункте неотложной помощи

напоминала печеное яблоко, залежавшееся на тарелке. Но они, как ни странно, были чем-то похожи.

– Злобность и равнодушие к чужим судьбам одинаково отвратительны, – сказала мне Даша.

Она жалела Афанасьева... Но он – Даша все больше утверждалась в этой мысли – не пожелал бы ее жалости, готовой на подвиг, но не являвшей собою синонима страсти.

– Сидеть в чужом кресле унизительно, – сказала вроде овладевшая собою Красовская. – Но и для *него* это кресло «чужое». Он не заслужил его. И такого окружения тоже!

Она, актерски затуманив глаза, прошлась взором по стенам.

В тот же вечер Даша встретила с Афанасьевым. Но уже возле нашего дома, где его могли узнать лишь любители театра и телеэкрана, на котором Иван Васильевич возникал регулярно.

– Ты любишь меня? – едва домчавшись с этим вопросом, сразу же, расставшись с актерской внятностью, произнес он.

– Конечно, – ответила она.

Не «люблю», а «конечно». И вновь ощутила, что до физической боли жалеет его. Он был в знакомом ей роскошном осеннем пальто, но оно не выглядело сшитым персонально для него, потому что Афанасьев не просто похудел или осунулся, а сжался и, казалось, стал ниже ростом.

– Ты любишь меня? Ты любишь? Ты любишь?.. – повторял он, задыхаясь и стремясь сохранить эти прежние слова в их прежнем обличье. И всего себя очень старался преподнести Даше все таким же, неизменившимся. Но это еще беспощадней подчеркивало несходство нынешнего Афанасьева с тем, бывшим.

Дворец нуждался в реставрации. Даша понимала, что реставратором может быть только она. Но сомневалась, что справится с этим.

«Так храм оставленный – все храм...» – вспомнила она лермонтовскую строку. Уцепилась было за нее. И тут же почувствовала, что строка от нее ускользает.

«Как снег на голову», – говорят в России о чем-то головокружительно неожиданном. Голова Афанасьева, его мощно густые волосы были раньше прошиты аристократической проседью, а теперь стали белыми. Это и был «снег на голову».

«Из-за меня... – обхватив руками свою голову и ощутив снежную морозность в ней, подумала Даша. – Из-за меня!»

* * *

Я мысленно вырываю из романа страницы... Ненаписанные, но которые могли бы в нем быть. Пусть останутся в моей памяти: другим они не нужны. Да и моя память в последние мгновения, если они не утонут в беспмятстве, промчит кадры бытия моего – с конца до начала – с фантастической скоростью, позволяя разглядеть лишь те, без которых непонятно было бы, зачем же я жил. Лишь те, которые отобрал бы взыскательный режиссер, если б вознамерился создать фильм о моей жизни. Думаю так не оттого, что высокого мнения о прожитых мною годах, а потому, что любая жизнь – это фильм, пьеса, роман. Психоневролог, чей долг выслушивать исповеди, владеет сюжетами сотен, а может, тысяч романов. Но я воспользуюсь лишь сюжетом собственной жизни. Да и то вырывая страницы.

Роман с вырванными страницами... Какое имя дать ему в целом и каждой из двух его книг? Я бы назвал роман «Человеческой комедией», если б название это не придумал великий, живший задолго до мая сорок пятого года, да еще не в Москве, а в Париже. «Человеческая комедия» – два слова воплощают всю суть бытия. Ибо сама мимолетность человеческого существования и наша тяжкая озабоченность каждым мигмом этого мига – уже комедия. Но пока мы не подчиним столь очевидной истине свои стремления и эмоции, человеческая комедия будет фактически трагедией. Еврейский Анекдот давно понял это и умел не отторгать драму от юмора и иронии. «Еврейский Анекдот»... Вот два слова, которые станут именем первой книги романа. «Анекдот» – это микрокомедия. Не обыкновенная комедия, а именно *микро*! И поэтому я тоже вырываю страницы, вырываю страницы...

* * *

– Смерть матери превратила ее дочь в старуху, – заявила на очередном художественном совете Нелли Рудольфовна. – И до такой степени подорвала физические и моральные силы Ангелины Афанасьевой, что она просит предоставить ей «академический отпуск» на целый год. – Актерски длинная пауза призвана была засвидетельствовать, что страдание душит Нелли Рудольфовну. – Мне бы такую дочь...

Вероятно, она мечтала иметь такую дочь, как у Ивана Васильевича, от самого Ивана Васильевича.

Говорили, что прежде Ангелина вызывала у Красовской лишь раздражение: она была зримым, мозолившим глаза результатом союза Ивана Васильевича с его женой, которую Нелли Рудольфовна до недавней поры по-прежнему именовала не иначе как шансонеткой и дрыгоножкой.

«От любви до ненависти один шаг». Наблюдая за отношением Нелли Рудольфовны к покойной афанасьевской жене и Ангелине, можно было сделать вывод, что один шаг не только от любви до ненависти, но и от ненависти до любви. И что оба эти шага весьма коротки.

– Нет, вряд ли она возлюбила покойницу и ее дочь, – сказал Игорь. – Трансформация (брат любил такие слова) ее отношения к мертвой матери и живой дочери – это проявление не любви, а тоже ненависти. Не к одному Афанасьеву, но и к нашей сестре.

– Мне кажется, ты немного того... преувеличиваешь. Где встречал ты *такое* коварство?

– А Яго? Думаешь, Шекспир его выдумал? Ошибаешься!.. Кстати, Шекспир – единственный творец, чьи герои стали не только нарицательными, но и на века символами человеческих качеств – высоких и низких. Ромео и Джульетта – символ любви, Отелло – доверчивости, хоть и был полководцем, Дездемона – чистоты и оскорбленной невинности, а Яго – изуверской неискренности.

Игорь не смог назвать Шекспира просто писателем и назвал «творцом», но, в отличие от Бога, с маленькой буквы.

– Так что же, Нелли Рудольфовна – Яго в юбке?

– Иногда она ходит в штанах... Но пол ее от этого не меняется. Я тебе говорил, что коварство женщин превосходит коварство мужчин, как и их душевная чистота (если уж она есть!) чище мужской.

Свою речь на художественном совете Красовская завершила высокопарным итогом:

– Таким образом, *святая* прерывает свой путь к сцене, а грешница будет его продолжать!

Через несколько дней святая бросилась на очередную амбразуру: преодолела себя и позвонила грешнице. Обуздав голос нервным спокойствием, она сказала, что надо встретиться.

И они повстречались... Не возле нашего дома и не возле афанасьевского, а где-то посреди, между ними, в маленьком садике, побеленном зимой. Разговор носил личный характер, но, подобно политическим переговорам, проходил на «нейтральной почве». Холод гнал, торопил людей, сделал садик пустынным – и это помогло разговаривать наедине.

Абрам Абрамович делил анекдоты на «с пылу, с жару», «средней свежести», «древние» и «доходяги». У него были любимые «микрокомедии» разного возраста. И даже такая, которую он считал

«доходягой», хотя она напоминала ему почему-то о студенческой юности. «Процветающий актер в собольей шубе встречает морозным днем своего приятеля по Театральному училищу, ставшего безымянным статистом и пробивавшегося сквозь стужу в потертом пальтишке. «Здравствуй, братец!» – Знаменитость распахнула объятия. – «К черту, к черту, летом поговорим!..»

«Старуха» выглядела человеком своего возраста: лет на двадцать.

– Мне уже все равно: будет у вас с отцом роман или нет, выйдешь ли ты за него замуж или не выйдешь.

Стало быть, сам Афанасьев имел, как говорится, «серьезные намерения». Ангелина понимала, что они, эти намерения, осуществившись, обернутся для отца мученичеством. Быть рядом с женой, которая ежедневно приносит себя в жертву? Да еще с той, что едва обрела совершеннолетие!

– Ты любишь *его*? – спросила Ангелина так, будто заранее знала, что Даша уже не любит.

– Он дорог мне. И я очень жалею его. Очень... А это ведь значит...

Перебив, Ангелина спасла Дашу от хитрости, столь несвойственной ей:

– Нет, нет... Жалеть его я буду сильнее, чем ты! Для этого ты не нужна. Я придумала план.

– План?!

Слово показалось Даше чужеродным в таком разговоре.

– Да... План, если хочешь. И если не хочешь – тоже! Увезу его на год, полтора... До той поры, пока не излечится. Договорилась с известным театром – в каком городе, не скажу, – чтобы он поставил «Отелло». Это – его конек!

Если б я присутствовал при их разговоре, то в полушутку посоветовал бы пригласить на роль Яго Нелли Рудольфовну.

Но честная Даша сказала иное:

– Его конек – «Ромео и Джульетта». Насколько я знаю.

– Зачем ему *теперь* это ставить? Чтобы тебя вспоминать? – Единственный раз за весь разговор Ангелина взглянула на сестру не то чтобы со злостью, а с чрезмерной, пронизывающей пристальностью. – Зачем?..

– Не надо, – согласилась Даша.

– Тогда у меня к тебе просьба.

Даша насторожилась, но тихо произнесла:

– Пожалуйста.

– Я скажу – во имя его спасения! – что в тебя влюблен Иммануил.

– А откуда ты знаешь?

– Оттуда, откуда и все остальные. И что ты...

Тут уж перебила сестра:

– Ты исполняешь сейчас роль папы Жермона в «Даме с камелиями» или в «Травиате»?

Я мысленно представил себе в мужской роли Нелли Рудольфовну, а Даша представила себе в другой мужской роли дочь Афанасьева.

– Я хочу, чтобы он согласился уехать, – уже более мирно и даже просительно стала объяснять Ангелина. – И чтобы он не звонил тебе ни здесь, ни оттуда.

– Если это спасет его, я согласна, – ответила Даша. – Но Имант тут ни при чем. Скажи, что я согласилась.

– На разрыв?!

– Нет. На то, чтобы мы подчинились судьбе.

В Театральном училище, по инициативе Нелли Рудольфовны, устраивались вечера «Откровенных бесед». Это противоречило убеждениям Афанасьева: он считал, что человек не обязан «откровенничать» с целой аудиторией. Он был не согласен с Нелли Рудольфовной, но вслух ей не возражал.

Очередная беседа посвящалась «исходу» из училища Ивана Васильевича. Согласно официальной версии, Афанасьев покинул его «по состоянию здоровья».

– Морального! – неизменно добавляла Нелли Рудольфовна.

На беседу явились все, потому что ждали сенсаций, подробностей. И боялись, что «неявка» может быть воспринята Красовской как протест, несогласие. А протестов, даже в мелочах, она не терпела: не терпела ее нервная система, как, впрочем, и вся государственная система. Преподаватели относились к Ивану Васильевичу по-разному: женщины, не претендовавшие на него, с открытой влюбленностью; претендовавшая Красовская – с открытой враждой; а мужчины – с «закрытой», а точнее, сокрытой завистью.

Студенты же внутренне перед ним трепетали, благоговели... Служение искусству усердно приравнивалось к служению правде, но студентов уже научили служить ей только на сцене, а во имя ролей в спектаклях играть в жизни ту роль, какую им предлагали.

Режиссером-постановщиком очередной «откровенной беседы» была Нелли Рудольфовна. Поэтому добрые слова об Афанасьеве сказали лишь двое – Даша и Имант.

– Физически он нездоров, но морально здоровей его никого не было и нет, – сказала сестра. – Эту «откровенную беседу» дважды откровенно

откладывали, чтобы дождаться, пока Иван Васильевич и Ангелина уедут. Он бы сюда не пришел, но она бы пришла. И произнесла бы те же слова, что на поминках. Я не была там, но мне рассказали...

– Не хватало еще тебе там присутствовать! – швырнула реплику Лида Пономарева.

Сестра не повернулась в Лидину сторону, точно и не услышав ее. Но, увы, «не услышали» и остальные студенты, которые прежде трепетали перед Афанасьевым от восхищения. И обязаны были вступить за Дашу, что значило вступить и за него.

– Ангелина бы сказала об отце... – спокойно перешагнув через Лидину реплику, продолжала сестра, – она бы сказала, как тогда на поминках: «Судить его здесь никто не имеет права. Я люблю отца... и почитаю его».

– Ты тоже его любишь, мы знаем, – вставила Лида Пономарева, которой в отношениях с нашей семьей нечего было терять, ибо меня она уже потеряла.

– Да, я люблю его! – быть может, последний раз призналась в любви к Афанасьеву Даша. И в тот момент это было искренне. Она взглянула на Иманта: он понял, что лишь «в тот момент». – Иван Васильевич ушел из-за того, что один человек – всего один! – пожелал, чтобы он исчез. А другие безропотно подчинились.

Даша, не таясь, потому что, как и отец, в подобных ситуациях не умела таиться, небрежно скользнула взглядом по Нелли Рудольфовне. Не «смерила», а скользнула... Взгляд был не злобным, а безбоязненным и презрительным.

– Почему? Я лично не подчинился, – запоздало, по причине своей громоздкой обстоятельности, возразил сестре, а на самом деле поддержал ее с места Имант. И поднялся – мощный, заставляющий вслед за ростом «задирать» глаза. – Я только из-за Афанасьева и поступил в это училище. И нахожусь здесь...

– Ну, сейчас-то не только из-за него, – не унималась Лида.

Ее бесило все, что касалось нашей семьи. Может, она любила меня? Имант, как и Даша, перешагнул через пономаревский вызов: не с его мужской силой было наваливаться на женские слабости.

Но куда беспредельней, чем Лида Пономарева, ненавидела Дашу Красовская. Бешенство Миледи вновь завладело ею. Она была в платье, прятавшем не только плечи и руки, но и ее стареющую шею. И все же можно было предположить, что на плече в тот вечер проступило клеймо каторжанки.

– Певзнер вообще не прошла у нас на приемной комиссии. Афанасьев

протащил ее. Об этом надо сказать... Если уж у нас вечер «Откровенных бесед». До конца откровенных!

Сестра неспешно встала и покинула аудиторию, беззвучно затворив за собой дверь. Имант прошагал вслед за ней.

– Я уйду отсюда. И завтра же! – тихо, готовясь к оглушительному поступку, сказала ему в коридоре Даша.

– Значит, это здание существует последний день. Завтра я сожгу его.

Она высоко подняла глаза – и поняла: он сожжет.

– Драться на рапирах с женщиной не могу, – добавил Имант. – Но лечь у входа, перекрыть ей дорогу – пожалуйста. Сперва перекрою, а потом подожгу...

Четыре года Красовская готовилась к акту мести. После вечера «Откровенных бесед» Имант сказал ей:

– Вы видите меня?

Она «задрала» вверх сдержанно-удивленный взор: таких вопросов студенты ей пока еще не задавали.

– Вот и все, что я хотел вам сказать.

Красовская поняла, что отплатить Даше – за любовь Афанасьева, за ее откровенность в «Откровенной беседе», за то, что сестра вызывающе не желала учитывать свою национальность, как это делали другие студенты еврейского происхождения, – что отплатить за все это она сумеет, лишь загнав Дашу в тупик. Но так, будто совершила это вовсе и не она, не Красовская, а совершил «Его Величество случай» – непредсказуемый и неотвратимый.

Четыре года Нелли Рудольфовна ждала удобного момента, создавала для него плодородную почву, подталкивала его якобы нежданное появление. «Его Величество случай», как всякое Величество, не спешил... Но наконец все же сообразовал явиться. Можно было сказать, что Красовская вскочила на последнюю подножку последнего поезда: Даша была на завершающем курсе училища.

Предстоял «выпуск» студентов на простор театральных сцен и «посвящение» их в актеры-профессионалы. Начали торжественно и взвинченно готовиться к выпускным спектаклям. «По системе Афанасьева» *каждый* студент-выпускник должен был сыграть в одном из спектаклей при переполненном зале – как в театре. От этого пункта афанасьевских правил Красовская, похоже, не отказалась: чем больше спектаклей, тем больше ролей. А следовательно, тем больше зависимости

от нее: назначение на роль – главную или бессловесную – было почти равно назначению на роль в предстоящей актерской судьбе. Иван Васильевич желал, чтобы каждый студент проявил *свои* способности, а Красовская желала проявить *свою* власть.

Пьесы Нелли Рудольфовна, как правило, подбирала сама – тщательно, кропотливо, чтобы все ее любимцы были удовлетворены, а нелюбимцы – проучены. Однако в тот год она озаботилась лишь пьесой, в которой предстояло выступить Певзнер. Рыскала, искала – и наконец выискала.

– Это новаторство! – сообщила Красовская на художественном совете. – Пьесу сочинил не Лопе де Вега, не Островский, не Шиллер, а выпускник Литературного института. На сцене же она оживет благодаря студентам-выпускникам *нашего* училища. Поверьте, пьеса талантлива!

Это было действительно так. Но тем хуже было для пьесы.

– Таких пьес еще не видали! – упивалась Нелли Рудольфовна.

И точно: *таких* не видали.

– Вы не представляете, что за сюжет!

Представить себе это было трудно... Эффектная – «на еврейский манер», как значилось в ремарке, – женщина соблазняет капитана дальнего плавания, с которым она познакомилась «в вихре развлекательного круиза». Она добивается – с «еврейской хитростью», как упорствовали авторские ремарки, – чтобы капитан оставил жену, двух детей и отправился вместе с ней, образно говоря, в самое дальнее свое плавание, бросив не только семью, но и отечество. Узнав об этом, жена, помешавшаяся от горя, убивает капитанским пистолетом его самого и себя, оставляя детей сиротами. Еврейка убывает в Израиль одна.

– Пусть вас не пугает обилие трупов, – убеждала Красовская. – В трагедиях у Шекспира нередко погибают вообще все главные действующие лица. До одного! И перед нами – тоже трагедия. Весьма современная! Вы знаете, сколько возникает смешанных браков? Лишь для того... чтобы пренебречь Родиной.

Художественный совет, очищенный от либеральной «афанасьевщины», понимал и одобрял Нелли Рудольфовну с полужука. Инакомыслия, которое пресекалось в масштабе страны, она и в масштабе совета не допускала.

Находясь в климактерическом периоде, Нелли Рудольфовна помножила негативные свойства настигшего ее возраста на качества, которые сделали ее двойником Миледи.

Однажды брат сказал:

– Изучение эволюции и трансформации, – Игорь любил такие слова, –

человеческого характера – любопытнейшая ветвь психологии.

Если так, о характере Нелли Рудольфовны следовало написать диссертацию. Эта диссертация показала бы, как под напором сложностей и агрессии обстоятельств человек становится своей противоположностью.

– За что она так ополчается против нас? – спросила как-то Даша Ивана Васильевича.

И он, не позволявший себе разглашать тайны чужих судеб, все-таки рассказал. Потому, что Даша его просила, и потому, что хотел остеречь ее.

Нелли приехала в Москву доброй девочкой.

Если бы в анкетах были вопросы «Даровита ли, «Хороша ли собой?», она бы имела право отвечать: «Безусловно».

Смутило слегка ее отчество «Рудольфовна». Но Нелли объяснила, что в роду были немцы. Комиссия свободно вздохнула: немецкие предки минусом не являлись. Поскребли в затылках и по поводу фамилии «Крысовская». Оказалось, что и поляки в роду имелись. Но и поляки минусом не считались.

Произошло самое ошеломляющее событие в жизни Нелли: ее, девочку из Смоленска, сразу и без ходатайств зачислили в Институт театрального искусства. После краткой паузы настиг второй ошеломляющий факт: она влюбилась в Афанасьева. А потом разразилось землетрясение, которое сотрясало Нелли в течение всей ее жизни: Афанасьев в нее не влюбился. А увлекся «студенточкой» с факультета музыкальной комедии, «шансоньеткой», «дрыгоножкой», «певичкой», как позже Нелли стала именовать жену Афанасьева. Конечно, «шансоньетка», по мнению Нелли, не была достойна его внимания. Но, к несчастью, кто достоин, а кто не достоин, решала не Нелли, а он сам.

– Супруга Жан-Жака Руссо тоже была легкомысленной женщиной, – сообщил Игорь, когда мы с ним обсуждали эту историю. – Ничего... Это не помешало Руссо остаться Руссо.

Может, следуя примеру Жан-Жака, Афанасьев, студент первого курса, на «дрыгоножке» женился. Нелли казалось, что этим поступком он благородно пытался остановить ее, упредить, что никаких перспектив у нее нет. Он ни о чем таком и думать не думал... Но ревность, препятствия, тяжесть борьбы за него обманывали воображение и распаляли страсть.

Она болезненно интересовалась, какое количество ранних браков в стране распадается. А узнав, что процент очень велик и год от года растет, обрела уверенность, что еще может стать не только любящей, но и любимой. Если бы разрушились вообще все ранние браки, она бы

скрепя сердце, которое все еще было добрым, аплодировала такой разрухе.

Так как всеобщая разруха, однако, не наступала, Нелли вознамерилась покорить Афанасьева актерским триумфом. Сперва она простодушно рассчитывала лишь на природный дар и природой данную внешность. Но выяснилось, что этого недостаточно.

Ее обольщали, преследовали открыто и замаскированно... Предлагали сниматься в фильмах, которые, случалось, вовсе не собирались снимать. Постепенно она осознала, что должна будет получать гонорары в рублях, а платить «гонорары» – натурой. Быть возлюбленной ей всегда предлагали не иначе как во имя прекрасного. Банально повторяясь в приемах и методах, уверяли: чтобы помочь актрисе, в нее надо «проникнуть» (в переносном, но и буквальном смысле этого слова).

С весьма нетипичным для провинциальной девочки негодованием и решимостью Нелли отвергала все домогательства. Она старалась ненароком довести до сведения Афанасьева, что ее домогаются, а она отвергает. Но на эти сведения Ваня не реагировал. Она сохраняла верность возлюбленному, которого не было. Была лишь ее любовь – неразделенная и одинокая.

Впервые услышав фамилию «Крысовская», молодой Иван Васильевич ухмыльнулся. Не теряя ни часа, она помчалась в милицию, невинно, на расстоянии обворожила майора – и, изменив всего одну букву, радикально преобразила звучание фамилии и её смысл. Крысовскую заменила Красовская... Но изменение представлений о жизни происходило медленней – и не в направлении *красы*, как фамилия, а в сторону ожесточения.

Не по-женски волевая и не по-актерски сосредоточенная на одном чувстве, она вступила в битву за существование. Но не вообще, а в искусстве.

Нелли сообразила, что в стране, где ей довелось жить, защититься можно с помощью либо покровителей, либо политики. Она предпочла политику.

«Политика, политика». Ее многообещающие объятия Нелли обменяла бы только на объятия Афанасьева. Но Ваня Афанасьев на ее объятия не претендовал, а другим претендентам она отважилась наносить поражения на том фронте, где они привыкли к легким победам.

Ей предстояло сделаться или «подстилкой», или стервой. Она и тут предпочла второе, объединив политику со стервозностью, поскольку они стыковались закономерно и органично. Красовская стала энергично избираться и выдвигаться. Достигнув общественного положения, с высоты

которого она могла преподать урок самонадеянным знаменитостям, Нелли такой урок преподавала.

На каком-то собрании, где, словно расталкивая друг друга, все наперегонки, захлеб размышляли о нравственности и морали, без которых, естественно, не мыслили себе жизни в искусстве, Нелли Красовская заговорила о нравах конкретно, заставив многих похолодеть. Кто-то даже захлопнул форточку. С прямолинейностью, чуждой искусству, но близкой политике, она поведала о горестных разочарованиях «одной из своих юных подруг». Все стали лихорадочно припоминать, с кем дружит Красовская, но никого не припомнили. Подруга же эта, которую не опознали, оказывается, жаловалась Красовской. И, пробиваясь сквозь плач, говорила:

– Как только меня пригласили сниматься, я сразу же поняла, что, ради своего будущего, должна буду отдаться режиссеру-постановщику, но не предполагала, что надо будет отдаться всем: оператору – чтобы он разглядел, как меня лучше снимать; гримеру – чтобы он определил, какая косметика и какие краски мне больше к лицу.

«О времена! О нравы!..» – воскликнул когда-то классик.

Нелли воскликнула: «О нравы!» – ибо о *своих* временах политика всегда высокого мнения.

На том собрании Нелли, во-первых, дала понять, что у нее ищут защиты, как у общественной власти. А во-вторых, привела в молчаливый внутренний трепет тех, от кого зависела ее будущность. Нелли Красовскую стали бояться.

Она бы обменяла страх на любовь. Но только на любовь Афанасьева. Он же предложил ей вместо любви роль в учебном спектакле «Три мушкетера». Он заметил, что обаяние у нее «отрицательное». И это оказалось положительным в том смысле, что она стала общаться с ним на репетициях, где не восхититься им было выше возможностей... Во всяком случае, женских!

Афанасьев был начинающим постановщиком, студентом режиссерского факультета. «Но ведь музыканты-студенты, – вспомнила Нелли, – бывают и виртуозами, завоевывают призовые места на международных конкурсах». Нелли не сомневалась, что, если бы организовали такой же режиссерский конкурс, Ваня Афанасьев тоже стал бы лауреатом.

Что произошло бы на несостоявшемся конкурсе с Ваней, неизвестно, а она, при помощи Афанасьева и Александра Дюма, наконец-то завоевала тот актерский триумф, о котором мечтала. Заодно Миледи вторглась в ее

характер. Сценическое амплуа стало ее амплуа и вне сцены.

Афанасьев полюбил ее... как актрису. И через годы пригласил в театр, главным режиссером которого стал. Он был доволен, что Красовская всегда «соответствовала образу», ее собственного образа не замечая.

А потом пригласил Нелли, ставшую уже Нелли Рудольфовной, и в Театральное училище. Тогда он еще не знал, не догадывался, что часто нас изгоняют именно те, кого мы *приглашаем*.

Но прежде чем любовь превратилась – или, по словам Игоря, «трансформировалась» – в ненависть, Нелли Рудольфовна пыталась от своей страсти спастись. Она старалась оттолкнуться от Ивана Васильевича, а судьба их все время сталкивала: в институте, театре, училище.

Она стремилась всеми способами «оторваться» от Афанасьева... Как раньше стремилась оторвать его от семьи. Оказалось все же, что силы нашлись... но у Даши.

Не только это, однако, сделало Нелли Рудольфовну антисемиткой. Давно узнала она, что жена Ивана Васильевича – как выражалась Нелли Рудольфовна, «дешево популярная» – хоть по отцу и по сцене была Никодимовой, но по матери Кушнер.

«Они отбирают у нас любимых», – сказала себе Красовская.

А тут еще Певзнер... Вот из-за кого, оказывается, осталась она старой девой!

– А если б дорогу ей перешла Сидорова или Петрова? Тогда бы она осталась не *старой* девой, а *молодой*! – высказался Абрам Абрамович. – Нет, на этой земле евреи необходимы. Иначе все несказанно усложнится: исчезнут объяснения бед и несчастий. А беды необъясненные (значит, и неоправданные!) становятся трижды бедами. Так что евреями здесь надо бы дорожить. Простите, что повторяюсь. Правда, «истина от повторения истиной быть не перестает», как сказал один из великих. Кто точно – не помню.

– Чтобы спектакль потрясал, на роль соблазнительницы из наших выпускниц назначаю только и только Певзнер, – объявила на художественном совете Красовская. – Здесь все совпадает: и внешние данные, и национальность... и остальное. Вы меня понимаете? Эта роль ей сродни: она будет играть *себя*. Или нечто себе подобное. – Красовская заменила прямую линию ломаной. – Нечто подобное... Одним словом, Певзнер!

Дарьей она сестру ни разу не называла.

Талант может быть честным, а может быть и порочным. Все равно он остается талантом. Но в первом случае – это счастье, а во втором – злосчастье.

Пьеса «Злодейка» была написана рукой, искусно владевшей пером. Но она могла бы не менее ловко владеть топором или кастетом.

– Не сомневаюсь, найдутся такие, которые спросят: «А почему в пьесе «Злодейка» злодейкой оказывается еврейка?», – закончив деловой разговор, раскованно размышляла Нелли Рудольфовна. – Злодейка, еврейка... Даже рифмуется. И рифма кого-то беспокоит. Но я задам встречный вопрос: а если б злодейкой оказалась русская, на ее национальности заострили бы внимание?

– На ее бы не заострили, а на Дашиной заострят, – прокомментировал Анекдот, когда все, что происходило на художественном совете, дошло до нашего дома.

Но Красовская развивала свои доказательства, как говорят в математике, «от противного». От очень противного!..

– Почему же русская женщина может быть разрушительницей чужого дома, а еврейка нет? Мы с вами были свидетелями истории... доказывающей нечто противоположное.

– А если Певзнер от роли откажется? – боязливо предположил кто-то.

– Тогда не получит диплома, – категорично, не допуская других вариантов, ответила Нелли Рудольфовна. – Таков закон нашего училища! И даже для Певзнер он обязателен.

Когда Даша в своей комнате прочла вслух «Злодейку», тишина воцарилась такая долгая и абсолютная, будто все, как в финале многих шекспировских трагедий, скончались.

В комнате уместились, притершись друг к другу, мы все, включая Абрама Абрамовича. А Имант, приглашенный сестрой на чтение, сидел в коридоре, но создавалось впечатление, что он заполнил собой всю квартиру, а мы сжались, дабы он уместился.

Мама то и дело посматривала на Еврейского Анекдота. Он не был ни актером, ни режиссером, но был мудрецом.

– Обмани их, – вовлекая Дашу в какой-то заговор, произнес Абрам Абрамович. – Пьесу написал черносотенец. Но столь ядрёно даровитый, что могут быть разночтения. Сейчас это модно: разные прочтения одного и того же текста. В этом театре Чацкий – герой, а в том героиня – Софья: «Уж если любит кто кого, зачем же ездить так далеко?» Она права: безумно любил – и укатил на долгие годы. Никакой логики! – Анекдот сделал паузу, чтобы отделить Дашу от Софьи. – Пусть у тебя будет *свое*

прочтение. Ты сыграй так, чтобы название «Злодейка» звучало иронично и опровергалось самим спектаклем. Что ж, она полюбила и он полюбил... Жена, если она тоже любила, должна была отпустить мужа. Отпустить! В Израиль? Да хоть в пустыню Сахару! Что дальше он будет делать, ее уже не касалось. Только бы отцом оставался. А в остальном... – Абрам Абрамович, как это бывало, взглядом попросил у мамы поддержки. Она и без просьбы поддерживала его, и Анекдот вдохновился: – «Насильно мил не будешь!» Это ведь русская мудрость, а не еврейская. Сотвори такой образ «злодейки», чтобы она выглядела несчастнейшей жертвой, хоть и осталась в живых. А еврейка она или узбечка – это анкетные данные. Обними в конце его детей... И пусть все поймут, что ты станешь им матерью. Что этого требует твое сердце! Мы внимательно слушали... Пьеса дает такие возможности, потому что талант оказался сильнее юдофоба.

Я попросил Дашу оторваться от пьесы, выйти на минутку и помочь в чем-то неопределенном: неопределенное выглядит нередко самым убедительным и недоумений не вызывает.

С того давнего рассвета, грозившего нескончаемой ночью всей нашей семье, мы с Дашей прозвали ванную «комнатой заклинаний». Ведь именно там вырвалась с неведомой дотоле интонацией фраза, отстранившая ночь. И меня тянуло вновь и вновь испытывать, проверять загадочную действенность моих внушений.

– Победи их... Победи... Иначе ты опять совершишь покушение на мамину жизнь! Даша встрепенулась:

– Я постараюсь.

И мы вернулись в ее комнату.

Имант стремительно, боясь что-то задеть или разрушить, поднял себя с табуретки, поскольку в субтильный стул с гнутыми ножками не вмещался. Он почти уперся головой в потолок – и кроме него, чудилось, в квартире уже никого не осталось.

– Ты сможешь *так* сыграть, – со спокойствием, рожденным абсолютной уверенностью, сказал он. – И уложи Красовскую на обе лопатки.

– Если этого не пожелал сделать Афанасьев, простите за пошлость, – стремясь побольней уязвить Нелли Рудольфовну, произнес Анекдот. И виновато взглянул на маму: при ней осмотрительность – в каждой фразе и каждом слове – не покидала его.

У Иманта дело с юмором обстояло хуже, чем у Абрама Абрамовича. Не улыбнувшись, он продолжал, ощущая собеседницей только Дашу:

– Ты получишь диплом. И мы сразу уедем в Ригу. Станешь примой русского театра. Ты обязана победить. Потому что ты лучше всех!

Не сказал «талантливей», а сказал «лучше». Так Даша говорила об Афанасьеве, когда любила его. «По-другому, совсем по-другому, чем прежде, она любит его и сейчас, – внезапно подумал я. – А Имант будет принадлежать ей вечно. На этом и на том свете».

– Куда вы поедете? – будто очнувшись, спросила Иманта мама.

– В Ригу, – ответил он.

Размышляя о том, что сестра «по-иному» Афанасьева все-таки любит, я, наверное, пытался для самого себя ее реабилитировать.

«Но Афанасьеву *иная* любовь не нужна», – думал я, сумевший одолеть свою страсть, когда пришлось выбирать между нею и честью сестры... а значит, и верностью дому, маме, отцу.

Правда, Игорь считал, что я не любил, а «хотел» или, интеллигентно выражаясь, желал. Думаю, он был не прав. Но вообще-то «другие» чувства – жалость, восхищение, благодарность – нередко путают с любовью, с которой что-либо путать бессмысленно, ибо она ни с чем не сравнима. Уж поверьте мне, психоневрологу, начавшему влюбляться с детского сада.

Если к любви прикручивают, приспособливают оговорки и определения – «люблю по-иному, по-своему», – это всегда подозрительно.

«Иманта жалеть невозможно, – продолжал размышлять я. – У него можно *искать* жалости. И защиты. Для женщины это естественно: жалость не унижает ее. Игорь считает, что стервы добиваются побед чаще,

чем ангелы. Но они, уверен, перемешивают обожание с дьявольщиной и деспотизмом. Любовь не очищает их, а толкает на подлости. Я вот избавился от чувств к Лиде Пономаревой и навечно их отвергаю!»

В мыслях своих я, ворочаясь под одеялом, непрестанно возвращался к судьбе сестры, которая как женщина нуждалась если не в сочувствии, которое отвергала, то в надежности и защите. «Имант сумеет уберечь Дашу: мускульная сила его соответствует силе чувства и преданности, – убеждал я себя. – У него не возникнет *другая* любовь к сестре. Никогда... Надежность – главное его качество. Он как любит, так и будет любить!»

Заклячая спектакль, исполнители всех ролей должны были выходить для «поклонов» по одному. На этом настояла Нелли Рудольфовна, хоть и не была постановщиком пьесы. Она отсутствовала на рядовых репетициях и даже на генеральной, дабы все убедились, что у нее к спектаклю нет особого и тем более необъективного интереса.

Единственное, чего ей хотелось, – чтобы кланялись поодиночке. Режиссер подчинился. И объяснил:

– Красовская считает, что таким сценическим способом характеры не будут скопом ломиться в память зрителей, а войдут индивидуально. И прочно.

Он был выпускником режиссерского факультета – и в дебаты с Нелли Рудольфовной не вступал.

Произошел, быть может, единственный в истории сцены случай. На репетициях Даша была одной, а дома, перед всеми нами и Имантом, она томительно и упорно создавала образ величайшей страдальницы, «без вины виноватой» мученицы, ввергнутой в конфликт между счастьем и совестью. Мы вместе, всей семьей, сочинили даже несколько фраз, которых не было у порочно даровитого автора. «Злодейка» этими фразами скупое, не вызывая жалости, давала понять, что ради любви, ни на что не надеясь, рассталась со своим прежним мужем и прежним благополучием. Получалось, что она не расчетливо, как намекал автор, не корыстно, а с завязанными глазами кинулась в неизвестность.

Несколько – всего несколько – реплик мы дописали: «злодейка» не вознамерилась примитивно утащить капитана подальше от дома, а давала почувствовать, что кислород понимания здесь отсутствует и ей нечем дышать.

К счастью, все, что говорил сам капитан, не аттестовало «злодейку» злодейкой, а лишь подтверждало, что он от страсти сошел с ума. «Злодейку», по умыслу автора, призваны были разоблачить ее собственные

откровения, а их можно было доносить до остальных действующих лиц и до зала по-разному, а иногда в «сокращенном виде».

На домашних репетициях Даша, как говорят оркестранты, вела свою партию, а Имант играл на других инструментах: и за капитана, и за его жену, и за тех, кто непрошено вникал в ситуацию, стараясь на нее повлиять. Дети же – кстати, мальчики-близнецы – появлялись только в самом конце, когда матери и отца уже не было. До этого их «играло» не окружение, как в пьесах о королях, а отношение родителей – в чем-то разное, а в невообразимости отторжения от сыновей – одинаковое. Даша, следуя совету Абрама Абрамовича, должна была в финале обнять сирот. Воссоединившись, на сцене оказывались трое, для которых трагедия продолжалась, поскольку они остались в живых. Они были несчастнее тех, для которых трагедия уже завершилась.

На премьере все произошло согласно нашему тайному плану, скорее похожему на заговор.

Партнеры, помимо желания, подчинились тональности, которую задала Даша, потому что воля таланта, данного свыше, сильнее старания средней руки одаренности или тем паче посредственностей. Эта воля способна подчинить и властно вести за собой.

Шел спектакль о жертве, которую тщетно пытались судить как виновницу, о горемычной, которую жестокость бессильно стремилась изобразить источником горя.

То, что на лице Дашиной героини хотели выжечь клеймо «злодейки», обернулось такой беспредельной несправедливостью, что название пьесы непредвзятые зрители мысленно заключали в кавычки.

Но непредвзятых в зале было не так уж много. Они сосредоточились в девятом и десятом рядах. Это были приглашенные для престижа деятели культуры, некоторые родители, наша семья, Абрам Абрамович, который, впрочем, тоже представлял семейство Певзнеров, и Имант, который мечтал представлять его в будущем.

Автор пьесы в дни репетиций и во время премьеры казался больным. Несмотря на молодость, он, как опытный мафиози, замышлял, планировал преступление, но сам на месте преступления не появился. Хотя в писательском ресторане его видели.

Как повелела Нелли Рудольфовна, актеры выходили кланяться по одному. Зал заковался в сдержанность, напряженность... Он затаенно ждал. Последней вышла на «поклон» Даша. И тут затишье взорвалось бурей. Начался новый спектакль... Он был задуман и осуществлен Нелли

Рудольфовной, но уже не на сцене, а в зале. Действующие лица смешались, заглушали друг друга.

Зал, превратившись в толпу, – сидячую, но толпу! – словно взбесился. Делать это во тьме было удобно и безопасно. Топали и кричали: «Во-он!» – олицетворяя нашу сестру со «злодейкой», которая в другой, не ставшей спектаклем пьесе убила двух людей, а двух детей оставила без матери и отца.

«Во-он!» – вопила Лида Пономарева. Ее-то голос я уловил бы из тысяч. «Во-он!» – орали запрограммированные студенты, оскорбленные красотой и талантом Даши. Это и была расплата за любовь Афанасьева, за всю неудавшуюся женскую судьбу Нелли Рудольфовны. «Из ряда вон выходящие... Со сцены вон уходящие... – возникло у меня в голове. – Вроде есть разница! Но тут и там – «вон». В этом суть и вся безысходность», – прокручивал я странную мысль.

Имант поднялся и направился к сцене. А Даша, непривычно потеряв власть над собой, бросилась со сцены ему навстречу, прибилась к его груди и затерялась на ней. Имант застыл. Сестра, получилось, преградила ему дорогу.

И все-таки Имант одним своим видом заткнул залу рот. Орать перестали. Боялись, что он и во тьме разглядит, узнает и не простит. Но зато ногами принялись действовать громче, старательней. Топали под стульями: хоть и бойко, но трусливо и анонимно.

И вдруг свершилось такое, чего не ждал уж никто: ни мы, ни Имант, ни Нелли Рудольфовна... Мама, незаметно преодолев расстояние между девятым рядом и сценой, не взлетела, а, будто считая ступеньки, вошла на нее. И хоть многие не знали, кто она и откуда, некое предчувствие заставило всех, не сговариваясь, погрузить зал в безмолвие.

– Я Дашина мама... А ее отец, тоже Певзнер, – Герой Советского Союза... если вам неизвестно. Напоминаю об этом первый раз в жизни. Я думала, он и его друзья победили фашизм...

Мама покинула сцену. А безмолвие зал не покинуло.

* * *

Ассоциации часто бывают не прямолинейными, а окольными и неожиданными. Один факт, случается, приводит к другому, который выглядит не родным его братом и не двоюродным, а родственником весьма отдаленным. Или даже вовсе не родственником... Перелистывая биографию нашей семьи в часы вечерних своих путешествий, я наткнулся на плачущего мужчину. Он был не из тех, что дают волю слезам. Хоть

и без формы, он выглядел профессиональным солдатом: подтянутым, прямым, не умевшим сгибаться ни под тяжестью лет, ни под тяжестью жизни. Плакал он открыто, не таясь, на автобусной остановке... Я, быть может, не смел вторгаться в его беду, но мне, как тогда, на бульварной скамейке, показалось, что она сродни горю, которое обрушилось на меня, придавило...

Нас было двое, а третьим – автобус, распахнувший, потом запахнувший свои двери и поскорей удалившийся, будто поняв, что он, как на Руси говорят, «третий лишний». И тогда солдат – не по возрасту и не по званию, а по характеру – сам обратился ко мне. Голос его мгновенно, словно по команде, заковался в твердость и гнев, оттолкнув от себя слезы:

– Они поступили подло: напали на нас в Судный день... когда мы молились и каялись. Отсюда я проводил сына. И здесь, на остановке, видел его последний раз. Ему и девятнадцати не было... Они воспользовались днем молитв. Сегодня как раз годовщина. Вы знаете? – Он помолчал, словно погружаясь в слезно-соленые глубины своей беды. – Для разбоя они использовали святыню.

И я вспомнил премьеру «Злодейки». Что общего было у той премьеры с войной Судного дня? Ничего... Кроме того, что и святой день, и Дашин дебют обнажили беспредел чужого хитроумия и коварства. На нее тоже напали в день, когда она была не способна подготовиться к обороне. Когда она, согласно ею же придуманной мизансцене, молилась и каялась...

Опять подкатил автобус. Несчастный отец поднялся по рифленным ступеням... А я, несчастный сын и несчастный брат – со временем вы все узнаете и поймете меня, – остался на остановке один. Где-то рядом плескалось Средиземное море. «Даша никогда не купалась в нем. А другое, хмурое море...» Я подумал о том, о чем расскажет роман... на тех его страницах, вырвать которые будет нельзя.

* * *

С премьеры «Злодейки» мы подавленно-безмолвные вернулись домой. «Дружеский ужин», на который преподаватели и студенты, сложившись, или, как говорят, «скинувшись», собрали деньги, обошелся без нас.

Абрам Абрамович упредил драматичное обсуждение того, что случилось: психологически необходим был антракт.

– Вы победили! – не сказал, а провозгласил он.

То ли Анекдот, как всегда, называл на «вы» маму и обращался к ней, потому что именно ей на премьере принадлежали самые последние и самые сильные реплики, то ли «вы» имело в виду нас всех.

– В самом финале зал онемел. А «конец – делу венец». Это тоже не еврейская мудрость, а русская! – продолжал создавать у нас победное настроение Абрам Абрамович. – Запрограммированные «поклоны» ничего не определяли... А героиней спектакля – в прямом смысле! – стала Дарья Певзнер.

У него была серия анекдотов, состоявших как бы из двух сообщений: одного непременно отрицательного и одного непременно положительного. Он решил разрядить атмосферу анекдотом из той серии... «Один антисемит говорит другому антисемиту: «Опять сообщили две новости! Одна ужасная: евреи высадились на Луне. А другая – прекрасная: они высадились там все!»

– Вторая новость очень обнадежила бы Нелли Рудольфовну, – сказал Анекдот. – Ей бы уже никто не мешал... Ни Певзнер, ни Кушнер!

И тут, вдруг не выдержав, он сократил антракт и обратился к отцу:

– Ну, сегодня наконец... на этой премьере состоялась премьера твоего окончательного прозрения? Или все еще «проклятая неизвестность»?

Иные облакают в значительные слова малозначительные мысли. Я привык, что Еврейский Анекдот выражал значительные – по крайней мере, для нашей семьи – мысли словами очень простыми. Самыми простыми, какие есть. «И неожиданно: «премьера прозрения»!.. – про себя удивился я. – Должно быть, простые, спокойные фразы для него в ту минуту не подходили. И для юмора места не оказалось. «Премьера прозрения» на премьере спектакля... Сила образа, как известно, в его точности. *Этот* образ с аксиомной снайперской меткостью выражал то, что должен был испытать отец. Но испытал ли?»

– Премьера состоялась, – ответила за отца мама.

Я тихонько увел сестру в «комнату заклинаний», потому что слух ее – я это чувствовал – еще раздирали топот и вопли: «Во-он!» Губы подрагивали, не подчиняясь ей, а нижняя губа кровоточила. Я вспомнил, как кровоточила вена на Дашиной левой руке.

– Они были взяты тобою в плен. И только после спектакля – уже после! – вырвались, чтобы рабски исполнить приказ. А потом опять онемели. Было совершено два подвига: подвиг актрисы и подвиг матери. Не смотри вниз! Победитель имеет право на гордость... Подними голову. Твой народ заставляют жить с опущенной головой. Не подчиняйся! Не склоняй голову... Не склоняй!

Даша и в письмах многословием не отличалась: ей важно было выразить суть. В Риге она стала русской... Русских там не любили,

но рядом был Имант. Он сделал приписку: «В театре русской драмы Даше предложили сразу три роли, а мне в латышском – одну».

– В нее там никто не влюбился? – с тревогой спросила мама.

Даже мудрый Анекдот не мог на это ответить. И вернулся к приписке Иманта: «С Дашей ничего не случится, пока я жив. А в нашей семье меньше девяноста никто не жил».

* * *

Все подлежало «распределению»: пища, одежда, награды, чины... И выпускников высших учебных заведений тоже распределяли. Не объективно, не по совести, а, как чины и награды, ориентируясь на привходящие обстоятельства. Среди них национальность, точно некая рекордсменка, стойко удерживала одно из ведущих мест.

Само понятие «национальная политика» уже исключало национальное равенство и независимость человека от его происхождения. Но коль она была, появились и «национальные нововведения». Даже, к примеру, слово «полтинник», обозначавшее прежде всего-навсего половину рубля, приобрело и второй смысл, повысивший курс этой денежной единицы до курса единицы этнической и политической. «Полтинниками» стали обзывать тех, что были неевреями только наполовину: либо по отцу, либо по матери. Такая мешанина тоже не одобрялась: она путала карты... Не игральные, а карты сражений за «интернационализм» в его коммунистическом понимании.

Молодецкая осанка анекдотов или, наоборот, их дряхлость зависят не столько от их возраста, сколько от соответствия времени.

Абрам Абрамович вспомнил анекдот, дряхлый по возрасту, но вернувший себе мускулистость. «Наниматься на работу приходит некто по фамилии Рабинович. Однако уверяет и пишет в анкете, что русский. «Уж если брат Рабиновича, пусть будет евреем», – накладывает резолюцию начальник».

Подобные решения могли приниматься не только в анекдоте, но и в реальности. А потому комиссиям, которые распределяли, раскладывали по полкам будущее людей, требовалось досконально выяснить степень чистоты крови тех, кому предстояло, окончив институт, вторгнуться в организм государства. Совсем как в бывшей, поверженной, Германии... Национальный «сорт крови», его чистота имели право заменять талант или, уж во всяком случае, ценились выше таланта.

– Пренебрежение истинными достоинствами – первопричина многих нынешних бед, – сказал Абрам Абрамович.

У Игоря между фамилией и национальностью противоречий не наблюдалось, а потому сомнения комиссию не посетили. Ей все было ясно – и брату предоставили «свободное распределение».

Недолгая «оттепель» сменилась крутыми заморозками. Однако ненастная политическая погода привыкла выдавать себя за погоду безоблачную. Искажая собственный облик, она искажала и смысл наиболее значительных слов: со «слова» ведь не только все началось, но «в слове» и все продолжается. Термин «свободное распределение» включал в себя эпитет, рожденный словом «свобода», а обозначал вышвыривание на произвол судьбы.

– Низость использует высокие эпитеты, – прокомментировал Анекдот. И его наблюдение показалось мне очень знакомым: то ли сам я добрался до этого вывода, то ли кто-то мне его ранее подсказал. Анекдот решил нас в этом выводе утвердить: – Чем низость низменней, тем эпитеты выше.

Игорь слыл одареннейшим студентом на факультете. Но одаренный не значило перспективный. Перспектива определялась распределительной комиссией.

– Что за комиссия, Создатель! – перефразировал Грибоедова Абрам Абрамович. – Старт зависит от «приемной», финиш – от «распределительной». А от способностей-то, от полезности людям и обществу что зависит? Ничего? Вот она, первопричина, вот она!

Игорю пророчили аспирантуру и распахнутые ворота научного института. Но ворота оказались воротами... И к тому же запертыми на засов.

Год назад отец пережил «премьеру прозрения» на премьерe спектакля. Но бритвенно острые впечатления, как после любой премьеры, начали сглаживаться. В том, что Игоря примут в аспирантуру или «научный», отец был убежден. Тиски убеждений, давних и, казалось, неколебимых, ослабили свой нажим, но до конца еще не отпустили его.

– Вторая премьера за столь короткое время, – промолвил Анекдот. – Привыкай, Борис: скоро будет и третья.

Он имел в виду распределение, предстоявшее мне.

Игорь знал, что уныние – непрощаемый грех. И, жертвуя летним послеэкзаменационным отдыхом, принялся бодро распределяться сам, или «свободно», как это называла комиссия.

Ему, однако, предстояло вместо вхождения во врата обивать твердые (лоб расшибешь!) и осклизло, каменно холодные пороги. Иногда обещали, иногда обнадеживали... Но неизменно обманывали. Все происходило по одному и тому же сценарию. Сперва рязанская внешность Игоря

и обложка «Диплома с отличием» воодушевляли отделы кадров. Заглянув под обложку, отделы искусно изображали вид, что их ничего не смутило. А дней через пять или десять, по-прежнему иезуитски не выдавая себя, сообщали, что «рады бы, но места, к их величайшему огорчению, заняты.

– Места не заняты, а закрыты! – без иронии произнес Анекдот.

– На Западе тоже есть безработица, – пытался утешить сына отец.

– Но она редко рождена национальными признаками, – возразил Анекдот.

Утешениям он предпочитал истину.

– Что же делать? – вопрошала мама.

– Все будет в порядке. Я убежден! – отвечал отец.

Убеждения все еще цеплялись за него. Или он цеплялся за них.

– Важно, *что* считать порядком, а *что* беспорядком, – опять без иронии вторгся Анекдот. Юмор не покидал его, но порою затаивался и не напоминал о своем присутствии.

Наконец Игорю сообщили, что в школе, где мы учились, к осени освобождается место заведующего учебной частью.

– И что же? Отправиться в кабинет, где когда-то пощечина защитила нашу сестру? Пойти за ответной пощечиной?

Приятель, бывший наш одноклассник, торопливо успокоил тем, что старый директор смещен. Пусть не бесстрашием чьей-то совести, а беспробудностью собственного пьянства... но изгнан.

– Давно уж замечено, – сказал Анекдот, – что ничтожества и негодяи обожают пороки великих людей, дорожат их заблуждениями и слабостями. Ибо это то единственное, что их с великими, на внешний, поверхностный взгляд, сближает. Писака-юдофоб ненавидит евреев не просто так, не примитивно... А как Достоевский! Простите, что повторяюсь. Но общеизвестное может не терять актуальности. Стихоплет не просто напивается и хулиганит... А как Есенин! Век уже давно перешагнул через свою середину – и оказывается, что за все это время, на мой не бесспорный взгляд, в русской поэзии были два гения – Блок и Есенин. Второй провидел судьбу русской деревни, как Федор Михайлович провидел судьбу всего государства. И к нему смеют апеллировать выпивохи?!

Абрам Абрамович так завершил свое размышление и потому, что смещенный директор в состоянии подпития декламировал нестойким голосом Сергея Есенина. Других он наизусть не помнил. А может, и не читал. Обществоведение, которому он обучал, в стихах не нуждалось. Директор школы прикрывался поэтом, поскольку Ушинский и Песталоцци, к его несчастью, не выпивали.

Должность завуча обычно сочеталась с преподаванием какого-либо предмета (кстати, почему науки именуют у нас «предметами?»). А психологию школьникам вообще не преподавали. Бывший одноклассник опять заторопился утешить:

– Новый директор – прекрасная баба! И хочет, чтобы заведующий учебной частью на другие обязанности не отвлекался. То есть она для нас *новый*, а вообще-то прежнего выпивоху вытурили уже три года назад.

– В школе есть одно психологическое и практическое преимущество: с ней не надо знакомиться, – сказал Игорь маме, которая продолжала отчаиваться. – У нас же образование хоть и «среднее», но всеобщее. Так что я знаю, что меня ждет. Разве не преимущество?

Игорь от желания выискать – ради мамы – «преимущества» был не вполне точен. Школы, как и люди, *внешне* похожи: у людей головы, туловища, ноги и руки, а в школах классы, уроки, домашние задания... Но у разных людей и школ – разные характеры.

Физиономии школ определяют прежде всего «физиономии» воспитателей.

Есть люди с одним дном, есть еще и со вторым, а встречаются и вовсе бездонные. Бездонны либо благородные качества, либо подлые. У «прекрасной бабы» Веры Никифоровны бездонными были честность и прямота. Игорь, как психолог, определил это сразу.

Вначале она решила побеседовать на профессиональные темы.

– Видеть в сотнях детей *своих* – это редкое качество. Его у вас пока быть не может, – сказала она Игорю. – Но со временем оно появится? Как вы думаете?

– Дети ведь тоже бывают хорошие и плохие.

– Но все они – *дети*!

– Я не готов дать вам гарантию, – сказал Игорь. – Но понятие «любимчики», к примеру, я не приемлю. Почему за стенами школы есть люди любимые (и это, со всех точек зрения, одобряется), а внутри школы – любимчики (и это осуждено)? Что за уравниловка чувств? Почему учитель не имеет права любить одних...

– На это он право имеет, – перебила Вера Никифоровна. – Но *не любить* других у него права нет. Или он должен подавить свою неприязнь. Или уж, во всяком случае, ее умело скрывать... Уравниловка, я согласна, всегда вредна. Ну а воспитательная опасна втройне: отличить будущего Лобачевского от не Лобачевских – это наш долг.

Вера Никифоровна была математиком.

– Теперь скажу вам честно и прямо... – У Игоря сложилось впечатление, что она всегда так говорила. – Вам, очень способному, меня уверяли, психологу, кажется, что должность завуча для вас – это мало. – Как она догадалась? – А некоторые полагают, что сразу после университета получить такой «пост» – слишком много. Особенно же это касается тех, кто сам метит на вакантное место. Вернее, оно *станет* вакантным: нынешний завуч за три года устала сочетать эту каторгу с возвышенной, но мучительной миссией преподавателя литературы и русского языка (диктанты, домашние сочинения!).

Игорь понял, что завуч его школьных лет – не столько соратник, сколько собутыльник бывшего директора – тоже давно смещен.

– Видите, я не скрываю: школьные трудяги вкалывают сейчас, как на галерах. – Ее честность и прямота не иссякали. – Но вы молоды... Да еще и психолог! Это плюс: рядом со мной должен быть человек, который не лупит все в лоб, как я, а психологически тонок. В общем, я вам обещаю.

– А кто нынешний завуч? – любопытствовал Игорь.

– Белла Менделевна Гурович. Это я ее привела.

Игорь не успел спрятать свое удивление: Вера Никифоровна взглядом перехватила его.

– Вы не ошибаетесь, – опять в лоб, то есть прямо и честно, сказала «прекрасная баба». – Гурович тоже еврейского происхождения. Ну и что? Национальность – не достоинство человека и не его недостаток. Она вообще от него не зависит. Гордиться своим народом человек вправе, но гордиться *собой* за принадлежность к тому или иному народу – просто глупо. Ведь любой народ представляют гении и бездари, рыцари и подонки... Сама по себе национальность *полностью* ничего не определяет!

Игорю показалось, что Вера Никифоровна – «баба» мало сказать прекрасная, а уникальная.

Не только самолеты бывают «перехватчиками», но и люди: они умеют перехватывать на полдороге чужие взгляды и даже мысли, не успевшие прозвучать.

Вера Никифоровна была «перехватчиком». Как и Абрам Абрамович... Их рассуждения о «национальной политике» кое в чем показались Игорю схожими.

Анекдот как-то сказал:

– «Разделяй и властвуй» – одна из подлейших тиранских заповедей. Особенно подло: «разделяй» по национальному признаку! Такое

разделение взрывоопасно по причине своей беспричинности. Вот такой парадокс. В необъяснимости ведь есть магия! «Тайна велика сия» – это от Бога. «Тайна необъяснима и может быть рассекречена лишь враждою и кровью!» – это от дьявола.

– А сама-то Белла Менделевна захочет, чтобы одного еврея сменил другой? – спросил Игорь.

– Ну, это уж чересчур! – прямо и честно отреагировала «уникальная баба». – «Хождение по мукам» вас явно травмировало.

Она, думаю, пожала бы руку многим мыслям Еврейского Анекдота.

Помню, он утверждал:

– Сталкивая в пропасть один народ, сталкивают лбами и другие народы. Цепная реакция национальной вражды неотвратима. Вот она, нынешняя чума, а не та, с которой ты, Борис, воюешь в своей лаборатории. Прости, я, кажется, вновь повторяюсь...

Через неделю, как было договорено, Игорь явился к «прекрасной бабе». Она сразу же показалась ему менее «прекрасной», чем прошлый раз. Характер ее за неделю не мог испортиться, но настроение ухудшилось явно.

– Белла Менделевна решила еще годик или полтора поработать... Завучем, я имею в виду.

– Передумала?

– Или испугалась, – честно и прямо сказала Вера Никифоровна.

– Испугалась? Чего?..

– Ну, во-первых, быть может, хочет, чтоб об уходе ее с этой должности сожалели. А для этого на смену должен прийти кто-нибудь послабей, чем она. Непонятное мне желание, но весьма частое. Вы, психолог, наверное, замечали. Впрочем, не исключено, что я заблуждаюсь.

– А во-вторых?

– Во-вторых, она, вероятно, считает – вы оказались провидцем! – что двух заметных, колоритных евреев для одной «средней» школы слишком много. По мне же, будь хоть половина или три четверти... Или ни одного! Какая разница? Какое это имеет значение?

Вера Никифоровна устала на Игоря столь прямо и честно, что он, как от слишком резкого света, отвел глаза.

– А в общем, я вам обещала. Обнадежила! И получается, что обманула. Только не восклицайте: «Ах, что вы? Что вы?!» Выходит, что обманула. А вас в этих «хождениях по мукам» и без меня, я уверена, много обманывали. А?..

– Много, – тоже прямо и честно ответил Игорь. – Вы сказали, что я провидец. Какой же провидец? Спешил, надеялся...

– Простите меня.

Прощать или, точнее, не прощать надо было не «уникальную бабу», а уникальный режим. Уникальность ведь бывает разного качества.

Тем же летом очередь дошла до меня... В моей биографии кроме главного минуса были дополнительные. Стараясь не слишком отрываться от своих близнецов, я умудрился пройти шестилетний курс обучения за пять лет.

– Шестилетка за пятилетку? – пошутил Анекдот. – Вполне в стиле нашего общества.

Однако проректор – большой знаток марксизма-ленинизма и «национальной политики» – высказался по-иному:

– Всегда они прут вне очереди.

Он изрек это в обстановке интимной... Но доверительные высказывания чаще других доходят до тех, кому доверены не были. Комиссии доложили и о том, что на меня еще в годы студенческие уже навалились людские стрессы и психические расстройства. Распространился слух о моей загадочной способности внушать пессимистам оптимизм, а разочарованным очарование надежды и веры. Я стал не по возрасту популярным. Мои таинственные возможности обросли мифами. Меня разыскивали, ко мне записывались на прием... Завистники сразу же объявили меня знахарем и шарлатаном.

– Внушаешь оптимизм? – спросил Анекдот. – По этому поводу расскажу такую историю... Молодой поэт сочинил поэму, которую буквально распирал оптимизм. Мудрый критик спросил его: «Ты оптимист?» – «А как же» – «Знаешь, был поэт Байрон?» – «Кто же его не знает?» – «У тебя, я знаю, попадаются неплохие стишки. Но он был гений! Ты, я слышал, избран кем-то в Союзе писателей... Но он был лорд! Ты недурен собой и, уверен, заводишь интрижки... Но он был красавец! У тебя, вероятно, сносные гонорары. Но он был миллионер! И при всем при этом был пессимист. Так что же ты, дурак, оптимист?» – Абрам Абрамович покашлял, как всегда после анекдотов, требовавших осмысления. И в который раз обратился к своей любимой цитате:

– «На свете счастья нет, а есть покой и воля»... Это, Серега, нам с тобой объяснил Пушкин. Волю, то есть свободу, в силах предоставить лишь государство. Но оно не торопится. Так подари людям душевный покой. Гипнотизируй... Но не как в том анекдоте!

– В каком?

– Ты забыл? Тогда я напомним... Еврей сообщает: «К нам в местечко приехал гипнотизер!» – «А что он делает?» – «Чудеса делает!» – «Ну а конкретно?» – «Приходит к нему Рабинович, у которого такие сухонькие ножки... Он на костылях шлендрается. Гипнотизер пристально-пристально на него посмотрел: «Рабинович, брось костыли!» Представьте себе, Рабинович бросил костыли!» – «И что?» – «Разбился к чертовой матери!» – Абрам Абрамович дал мне мгновение, чтобы вникнуть в его намек. – Гипнотизируй, Серега, но так, чтобы люди не разбивались, не падали, а, наоборот, становились на ноги. В прямом и переносном...

Абрам Абрамович ощущал за меня повышенную ответственность еще и потому, что пациентов я принимал в его комнате. Выглядела она похолостячки неустроенной, сиротливой. Но неопрятности Анекдот как в поступках, так и в быту не допускал.

Восемь остальных комнат населяли русские люди, и все лелеяли Абрама Абрамовича, называя его Абрашей. Жить в коммунальной квартире и оставаться здоровыми – вряд ли реально. Анекдоту не давали забывать, что по профессии он доктор. Жажда медицинских рекомендаций – извечная людская слабость. От Абрама Абрамовича соседи ждали спасительных разъяснений: касательно себя, родителей-стариков и малых детей. Анекдот и без правой руки направо и налево раздавал советы.

Но вдруг комната его превратилась в психоневрологический кабинет!

Денег я поначалу не брал. Но Еврейский Анекдот возразил:

– Моим соседям восстанавливай невозстановимые нервные клетки бесплатно: от их психики зависит и моя психика. И твоя «практика»... Но с других? Не заплатив, они не излечатся! Кто же поверит, что настоящий врач не берет за лечение?

Стремясь внушать людям надежды, я вобрал в себя столько чужого горя, что сам начал понемногу надежды терять. Но виду не подавал: нельзя же уныло лечить уныние.

– Вы дерзнули бороться с психозами без диплома? – спросил меня председатель распределительной комиссии. – Теперь дерзните с дипломом!

Меня «распределили» в психиатрическую больницу.

Первое предназначение анекдотов Абрам Абрамович, как известно, видел в том, чтобы смягчать ими драмы. Перед тем как мне предстояло отправиться в психбольницу, он попробовал влить в меня самого успокоительные лекарства.

– Такая была история... Приходит врач-психиатр в палату и предупреждает своих пациентов: «Сейчас явится новый больной и станет утверждать, что он Наполеон Бонапарт. Но вы не верьте ему. Не верьте... Потому что Бонапарт это я!» Прости за анекдот-доходягу. А вот просто дряхлый. «Врывается в палату психбольной с толстенной книжищей и восклицает: «Смотрите! Какая странная пьеса... Сотни действующих лиц. Даже тысячи!» А из коридора доносится крик санитаря: «Кто спер телефонную книгу?..»

Одна из основных медицинских заповедей – не привыкать к человеческим мукам. В больнице, где я вознамерился исцелять и спасать, врачи до того *привыкли* к чужим страданиям, что обсуждали телевизионные передачи и новые фильмы, когда санитары вязали буйнопомешанных. Поскольку ненормальные ничего и никому не могли рассказать, местные донжуаны похотливо обхаживали медсестер не только на лестничных площадках и в коридорных углах, но и забивались с ними в процедурные кабинеты.

В тот день, когда я «заступил на должность», один тихий больной повесился на скрученной простыне. Паники и грусти по этому поводу не наблюдалось... А в буфете я услышал, как, давясь смехом и пирожком, один целитель говорил другому:

– Послушай анекдот на аналогичную тему! Приходят в гости к еврею, а он барахтается под потолком, обвязав свой живот подтяжками... Воображаешь картину! «Что ты делаешь?» – спрашивают его. «Жить не хочу! И решил повеситься!» – «Так петлю же надо на горло...» – «Пробовал, задыхаюсь!»

Буфет жизнерадостно заготовал. Анекдоты здесь рассказывали не для смягчения драм, как это делал Абрам Абрамович. Поскольку сами драмы целителей веселили.

«Не дай мне Бог сойти с ума!» – внезапно пронзила пушкинская строка.

Через неделю меня вызвал к себе главный врач с пародийной фамилией Гурманский. Не для знакомства, а, как было сказано, «в порядке ознакомления». На гурмана он не был похож: тощее лицо, обтянутое небрежно побритой кожей. «Если из его фамилии убрать букву «р», получится Гуманский, – подумал я. – От слова «гуманность».

Но гуманностью от него уж тем более и не пахло! От него пахло бессердечием. Нос, подбородок и взгляд были до того кинжально заострены, что ими, казалось, можно было порезаться... Обрезаться можно

было и об его характер.

Не предложив мне сесть, Гурманский сказал:

– Работа у нас боевая! Предупреждаю, Сергей Борисович.

Боевой она была лишь в том смысле, что больных часто били: кричи не кричи, а пожаловаться они никому не могли.

– К нам поступили двое больных с вывороченными мозгами: система им не нравится, режим их не устраивает, – сообщил главный врач. – Вот с них и начните! Научно обоснуйте диагноз... Научно! Вы поняли?

«Не дай мне Бог сойти с ума...» – вновь пронзила строка. – Не дай мне Бог... от всего, что я увидел здесь и услышал».

В тот же вечер мы, потеснившись, всем семейством собрались в комнате, которую по-прежнему называли Дашиной.

– «Хождения по мукам» продолжаются, – доложил Игорь с шутливостью, которая грозила оборваться рыданием.

А я рассказал о психиатрической больнице и беседе с ее главным врачом.

– Что же делать? – спросила мама. И посмотрела на Абрама Абрамовича, ожидая спасительного ответа.

Он молчал.

– Уезжать, – отбросив палку и поднявшись без ее помощи, произнес отец. – Уезжать...

Книга вторая

Стена плача

Продолжаю свои вечерние путешествия... нет, не случайно уходящие в ночь: туда, в ночь, во тьму, ушла судьба всей нашей еврейской семьи. Только потому, что она еврейская... Смеет ли существовать на свете такая причина? И смеет ли называться *белым* светом тот свет, где столь *черная* причина все-таки существует?!

Вспоминаю, восстанавливаю историю нашей семьи по фактам-кирпичикам, чтобы потом записать, а еще поздней вырвать, отторгнуть все ненужное, лишнее, отвлекающее от сути.

Пальмы, магнолии... И дома белого, не притягивающего жару, цвета. Город похож на южный курорт.

Но курорты бывают не только жаркими... А на прохладных курортах прохладно, не зазывая к себе в дома, встречают заезжих. Это не *свои* и не гости, а именно заезжие, транзитные пассажиры. Как же мы не подумали, что такой пассажиркой может оказаться и Даша, отправившись в Прибалтику – вслед за мужем и в поисках покоя? Но обычный транзит обещает продолжение дороги. А дорога сестры оборвалась... Даша могла бы поехать и в другую сторону, в южную, вместе с нами – и тогда бы... Но к чему забегать вперед, сокращая то, что и так было кратким?

* * *

«Роман с вырванными страницами...» Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но мудрость – и даже самая общепризнанная! – не может считаться универсальной, годиться на все случаи. События, наступающие подчас даже личность обыкновенную, оказываются неповторимыми не только в истории этой личности, но и в истории человечества. «Все, что есть, было. Все, что будет, было», – утверждал мудрейший Екклесиаст. Но и он ошибался. Неповторимость ударов и ситуаций, что обрушиваются почти на каждую жизнь, опровергает его слова. Они годятся для происшествий глобальных, но не для индивидуальных людских судеб, в которых все гораздо сложнее. Интимная сфера загадочней планетарной. Уж поверьте мне,

психоневрологу... И ничто тут на *любые* случаи не годится! Очнувшись, словно на иной планете, в Иерусалиме вместе с мамой, отцом и Еврейским Анекдотом, я оказался вдали от Даши и Игоря лишь формально... Их повседневное бытие я ощущал разумом, колеей своей. И не потому только, что мы, трое, родились в один день и один час. Оторванность от самого дорогого, исчисляемая километрами, гарантирует иногда полное отсутствие разрыва душевного. Чем размашистей разбросаны по свету преданные сердца, тем необходимей они друг другу.

Иерусалим, Рига, Нью-Йорк... Как оказались в разных концах планеты те, что были неразлучимы? Разлучать – это излюбленное занятие не только смерти, но и жизни. Она даже более изобретательна в этом смысле, ее способы разнообразней и изощренней.

Прежде немногословная Даша стала присылать письма, воссоздававшие жизнь ее в мельчайших деталях. Повторюсь: мельчайшие – это вовсе не мелкие, по значению своему они часто, как и раньше, выглядели даже крупнейшими. И брат чуть ли не ежедневно отправлял скрупулезно точные повествования о том, что происходило с ним где-то за океаном. Не утрачивая ироничного реализма, который порой походил на цинизм, если цинизм и реализм чем-то отличаются друг от друга. Никакой отторжимости вроде бы не было. Иерусалим невидимым магнитом притягивал их существа, а Рига и Нью-Йорк притягивали существа наши. Сила соединяющая оказалась мощнее разъединяющей.

Но все-таки... Все-таки я не предвидел того дьявольски ужасающего, что нависало над моей сестрой и, в конце концов, рухнуло на нее в Прибалтике. Я не представлял себе того психологически изнуряющего, что испытывал мой брат-психолог на другом континенте. Не предвидел, не представлял... Ибо вопреки Екклесиасту (да простится мне дерзость спора с ним!) не все, что есть, *было*. С людьми стрясается и еще небывалое...

«Как мы могли расстаться?! – вопрошаю я ныне себя самого. – Фундамент нашего дома был монолитом. И дом можно было перенести куда-то, в другое место, лишь весь, целиком, ни на один кирпичик не нарушая его основу, его фундамент».

Итак, письма, «свидетельские показания» тех, кто видел собственными глазами и слышал собственными ушами; воображение, для которого достаточно вникнуть в характер или подробно узнать о нем из чужих уст, чтобы зримо представить себе, как этот характер поведет себя в любой ситуации... Вот кому и чему должен я выразить признательность за то, что жизнь моей семьи, которой уже нет на земле, быть может, продлится

этим романом.

Я опять буду вырывать страницы, мысленно или реально написанные, но необязательные, потому что второстепенность способна замутить, затуманить главное и утопить в своей обильности суть.

Вырываю страницы, вырываю страницы...

* * *

Имант был внебрачным ребенком. И очень поздним: Дзидра Алдонис родила его в сорок шесть лет. Родила как последний свой шанс, последнее доказательство, что у жизни ее может быть продолжение. Не много ли в романе моем одиноких? Если и много, то не более, чем в реальности.

В сталинскую пору у Дзидры отняли все. Отняли отца, который в революцию был латышским стрелком. Самозабвенно, выше всего остального ценил он плоды революции. Но один из плодов свалился ему на голову и размозжил ее: в тридцать седьмом году оказалось, что латышский стрелок стрелял *не туда и не в тех*. За это стрелка расстреляли. Отняли мать, посмевшую захотеть после гибели мужа вернуться на Запад, домой, в родные края. Она, наоборот, была отправлена на Восток и сгинула где-то там, в запредельно далекой от Латвии Воркуте. Отняли мужа и сына, которых, как в карцер, загнали в строительный батальон, чтобы они зимой сорок первого и сорок второго погибли не от вражеских пуль, а от неведомого им, всепроникающего в организм сибирского холода, от истощения физических сил и человеческого терпения.

И тогда Дзидра, чудом в конце войны вернувшаяся домой, родила там второго сына... Поседевшая еще в молодости, с лицом, изборожденным морщинами ранних потерь, она на любовь уже не рассчитывала – и родила от почтальона, жившего почти по соседству. Он не мог подарить ей писем, но подарил ребенка: именно *он* ей, а не *она* ему, потому что он подарка не ждал.

Абсолютная – без каких-либо нюансов – белизна волос и не поверхностный, будто грим, пляжный загар, а постоянная грубоватая смуглость, ставшая цветом кожи, рьяно диссонировали между собой. Да и вообще многое диссонировало в Дзидре Алдонис...

Иначе как оккупантами она русских не называла, понимая под «русскими» всех, которые не могли считать себя прибалтами. Прожив детские и юношеские годы при сталинском режиме в Москве, она ощущала их не весной, а промозглой осенью своего бытия. На язык «оккупантов», которым блестяще владела, она реагировала молчанием, стискивающим

губы до еле заметной щели. Если бы Дзидра навечно окаменела, она могла бы стать памятником с кратким агрессивно воспламеняющим именем «Гнев».

Однако все это оставалось за рубежами ее отношений с Имантом. Озверять ненавистью душу сыну она никому – и прежде всего себе самой – воинствующе не позволяла. Не взваливала на него тяготу бед, неподъемную для одного человека, но выпавшую на ее долю. Свою участь Дзидра оставляла себе, не распределяя ее между собой и сыном.

В общении с Имантом она была одним человеком – заботливым, с губами, разжатыми для ласковых слов, а за порогом этого общения становилась другим: губы не просто сжимались, а затворялись на железный, глухой засов. Дзидра погружалась на самое дно озабоченности тем, от чего зависела судьба сына, и даже тем, что угрожало хоть мимоходом коснуться этой судьбы. Если «оккупанты» заговаривали с ней при Иманте, она не затворялась на засов, а, как бы не расслышав, обращалась к сыну по-латышски, вспоминая о неотложных материнских обязанностях.

Конечно, сын знал, что мать одержима гневом... Но так же, как она не заставляла его присоединиться к протесту, он не заставлял ее от протеста отказываться.

Между домом Алдонисов и морем разметался пляж.

Когда Имант был ребенком, Дзидра до судорог, сводивших тело и душу, боялась, что он может утонуть. Она, прежде застывшая, как изваяние, в одном своем чувстве гнева, теперь панически страшилась потерять сына: в воде, на земле... Так как и раннее детство Имант провел у моря, Дзидра больше всего моря и опасалась. Устроившись «смотрительницей пляжа», она превратилась в неусыпную «смотрительницу» собственного потомка. Она научила Иманта плавать раньше, чем он научился ходить. Сын рос, как в сказке, «не по дням, а по часам». И не по дням, а по часам росли новые опасения его матери...

На песке развалилась, раскидалась, легкомысленно поспешала, боясь упустить момент, флиртвала, плескалась дежурным кокетливым смехом и хмурой прибалтийской водой курортная блажь.

Материнская тревога постепенно превратилась еще в одну – дополнительную! – ненависть, а ненависть распространилась на весь тот пляж. Протестующий взор Дзидры задерживался с непримиримостью не столько на «оккупантах», сколько на «оккупантках». Их тела ассоциировались с предельной бесстыдностью: «У себя бы так

не посмели!» Хотя пляж вряд ли отличался чем-то от любого другого пляжа. Полуприкрытия были для Дзидры отвратительней наготы, как полуправда отвратительней лжи. Женские тела, на которых выпукло обозначалось и призывно заявляло о себе все, что, по ее мнению, должно было прятаться, она желала бы скрыть, по крайней мере, от взглядов сына. Но «иноземки» вознамерились, она была уверена, оккупировать, побороть, как говорят в спорте, «запрещенными методами» атлетически сложенного Иманта. Дзидра отдавала себе печальный отчет в том, что перед силой притяжения этих тел и богатыри оказываются слабаками.

Стремясь предотвратить пленение сына «иноземными захватчицами», Дзидра осталась смотрительницей пляжа, хотя могла рассчитывать на более выгодные должности. Смотрительница продолжала быть наблюдательницей... Она контролировала перемещения Иманта по песку, который был золотым, а ей казался загаженным. Она «глядела в оба», но пришло время... И Дзидра все же недоглядела.

Имант привык уплывать за линию горизонта, которой на самом-то деле не существует и которая миражом видится только издалека. На воде он любил менять позы: то взбучивал вокруг себя зеленоватую пену и прорезал собой прозрачную морскую поверхность, то замедленно, управляя одной рукой, плыл на боку, то блаженно укладывался на спину – и вода еле заметно, но с удовольствием покачивала его, мощного и загорелого, как дитя в люльке.

На море Имант отключался от всего, что будоражило на земле его мать и, естественно, передавалось ему, как ни пыталась Дзидра от себя в этом смысле его оградить.

Он добирался до того простора, где оставался, чудилось ему, один на один с притихшей, но и непредсказуемой в своих настроениях и поступках стихией.

Однажды это ощущение оказалось обманчивым.

– Я что-то устала... – с завлекающей женской беспомощностью произнес – под осторожный, стеснительный морской аккомпанемент – голос на латышском языке. – Я лягу, а ты подстрахуй меня снизу. Одной руки тебе хватит, чтоб удержаться?

Он выполнил просьбу. Это было оторвано от берега таким расстоянием, что «смотрительница пляжа» ничего не увидела.

Иманту минуло шестнадцать, а уставшей латышке – не менее тридцати. Она была старше в два раза... Однако ее прохладная, упруго гладкая спина этого Иманту не подсказала.

– Меня зовут Лаймой, – зачем-то сообщила в открытом море

латышка. – А тебя?

– Имантом.

Так они познакомились.

Ему неожиданно захотелось, чтоб она отдыхала подольше. Лайма тоже не торопилась. Отдых на воде затянулся... Тем более, что Лайма попросила поддержать ее крепче: то ли силы иссякли, то ли иссякло ожидание, когда же Имант сам догадается не только поддержать ее снизу, но и обхватить сбоку. Он, в конце концов, обхватил – и коснулся случайно кончиками пальцев ее груди, зажатой купальником. Имант оторопел... Не одни пальцы, но и дыхание свело, как от судороги. Почувствовав это, она чуть-чуть повернулась в воде, чтобы он ощутил ее грудь не кончиками пальцев, а всею рукой. Иманту стало жарко в холодной воде... Поняв, что он для чего-то, задуманного ею, созрел, она расслабленно предложила ему возвращаться... Пока они плыли, Лайма сообщила, что приехала на побережье демонстрировать моды. Другие анкетные данные не прозвучали.

– Вы манекенщица?

– Слово «манекен», по-моему, обозначает безжизненность, мертвечину.

А я...

– Вы?..

У него прервалось дыхание.

Когда достигли берега и ступили на мокрый песок, Лайма сказала:

– Проводи меня до гостиницы. Я остановилась... в отдельном номере.

И он – огромный, сильный, размеренный в каждом своем движении – послушно зашагал вслед за ней. От неведомого до той поры напряжения, охватившего властно все тело, он забыл и о том, что мать где-то здесь, совсем рядом, и может увидеть их.

Привыкшая к требованиям профессии, Лайма, передвигаясь, а точнее, шествуя по пляжу, демонстрировала стройную длинноноготь и выверенную пропорциональность всех своих форм. Рыжие, мокрые, но не позволившие себе слипнуться волосы с той же продуманной небрежностью ниспадали ей на плечо. Не на плечи, а на одно плечо – светло-шоколадное и пластичное, чтобы оно было оценено по достоинству. Она брела, а он следовал за ней по самому краю пляжа, где песок, то накрываемый морем, то покидаемый им, утратил свою золотистость и потемнел, напитавшись влагой.

Дзидра увидела... Стряслось то, чего она так опасалась, но чего предотвратить не могла. Одна из «оккупанток», считала она, должна была посягнуть на ее сына, потому что русские всегда посягали на самое святое,

начиная с ее Родины... Дзидра не пошла за ними, потому что не умела шпионить, хотя с детства причислялась властями к шпионскому роду.

Она подумала, что на сей раз сын далеко не уйдет: «оккупантка» по пути захватила свое платье и полотенце, а Имант оставил на песке брюки и майку. Выходило, что сын скоро вернется. И она успокоилась. Не поняв, что одежду свою он не оставил, а забыл...

Вернулся сын вечером, по-летнему светлым, но показавшимся ей поздней ночью: очень уж заждалась.

– Как же ты? – спросила Дзидра. – С вульгарной оккупанткой! – Кажется, впервые она не сдержала в разговоре с ним протеста и гнева. – Как же ты?!

– Это латышка, – ответил он.

– Не может она быть латышкой!

– Не может... Но латышка.

Сын никогда не лгал. Дзидра поверила и затихла. Тем более, что в Иманте обнаружилось что-то незнакомое ей. Он вернулся мужчиной.

Моды на побережье демонстрировались семь дней. И всю неделю Лайма после утреннего купания приводила Иманта в свой отдельный гостиничный номер. Приводила, уверяя, что страшится отъезда, потому что вряд ли сможет без него жить. Он верил ей... И хоть в ответ не произносил ничего подобного, о разлуке старался не думать.

Однако последний день наступил.

Прощание с манекенщицами происходило на пляже, но за дюнами, в пустынном месте, где свидетелями по вечерам могли быть лишь толстоствольные сосны – безмолвные стражи песка и моря.

Подруги, а вернее, коллеги Лаймы отличались от нее только лицами – фигуры же у всех были столь же выверенно показательными, а формы безупречно пропорциональными. Каждая явилась со своим кавалером-курортником. Двое из кавалеров были русскими, а двое паточно комплиментарными сынами Востока. Славяне всадили в песок водочные бутылки и принялись молча и деловито складывать деревянные поленья, предусмотрительно заготовленные для костра. А сыны Востока раскрыли сумки, раздувшиеся от овощей, фруктов, мяса и вина.

Имант принес пятнадцать бледно-розовых гвоздик, поскольку было пятнадцатое июля и Лайма к тому же предпочитала бледно-розовый цвет. Он сумел, несмотря на неколебимую стабильность своего облика, переориентироваться – и с весомой учтивостью вручил по три гвоздики

всем длинноногим пропагандисткам моды.

Когда шашлык, осыпaeмый костровыми искрами, что придавало прощанию фестивальнoй оттенок, был готов, начался пир. Сперва он обрел чинность и даже торжественность: произносились тосты в честь отъезжающих, их женских достоинств, которые были явными, и человеческих, которые предполагались, но с манерами манекенщиц не вполне стыковались. Славяне осушали стаканы водки, а восточные братья стаканы вина. Имант присоединился к Востоку, но до дна стакан свой не осушал. Первое время это не привлекало внимания... Но потом, по мере хмеления, его начали стыдить, укорять. Особенно усердствовали сыны Востока, пьяневшие от вина заметней, чем славяне от водки.

Хмель постепенно выпускал на простор и подталкивал к действиям банальные мужские страсти. Поначалу они еле заметно постукивали копытами, но от рыси – тем паче от галопа – воздерживались. Затем же, минуя рысцу, страсти загалопировали. Славяне и восточные братья единодушно возжаждали пить на брудершафт с подругами Лаймы, которых и так называли на «ты». Поцелуи исполняют в подобных ситуациях роль стартовых пистолетов... По предложению славянина – славяне прямолинейнее – чопорные платья из модной коллекции были аккуратно сложены, а мужские костюмы с поспешностью сброшены на песок. Все остались в трусах и купальных костюмах. Начались объятия, именовавшиеся дружескими... А потом, незримо сговорившись, участники и участницы пира стали попарно покидать убежище в дюнах для купания. Сыны Востока покидали дюны пылко, нетерпеливо, но не надолго. Они не уводили и не умыкали, а почти волокли, тащили в воду своих подруг. Славяне вели себя не столь откровенно, покидали пляж не так целеустремленно, но погружения их были куда более обстоятельными и долгими. Продолжительность необычных купаний была разной, но возвращались все одинаковыми: поостывшими, что объясняли прохладностью прибалтийского залива.

– Не хочешь искупаться? – спросила Иманта Лайма.

Он хотел всего, чего хотела она. Неспешно снял майку, потом брюки и уложил их на песок с той аккуратностью, с какой складывались модные платья. Взявшись, по ласковой инициативе Лаймы, за руки, они направились к морю. Не расставаясь ни пальцами, ни ладонями, они долго шли по песку прибрежного мелководья, пока не погрузились в потемневшую от вечера воду: она по плечи, а он едва ли наполовину. Лайма повернулась и прильнула к нему... Нежно, естественно, будто не делая ничего грешного, она спустила под водой до самых колен его

трусы, а потом и свои.

– Так хочешь?

Он и там, в воде, хотел всего, чего хотела она.

Участники и участницы пляжного пира отметили их возвращение из морских вод поздравлениями: славяне – незамаскированно мужиковатыми, а сыны Востока – скользковатыми. Но все вновь с полным, хоть и заплетающимся единодушием потребовали, чтобы Имант обогрелся стаканом вина. Раз уж, как сказал один из славян, «по-бабьи не пьет ничего крепкого». Упрек звучал закономерно на фоне разнуздавшейся пляжной действительности: манекенщицы с азартом – конечно, «чтоб разогреться», – перешли на водку. Имант, подбадриваемый со всех сторон, впервые не осушил, а опрокинул стакан, чтобы хоть так опровергнуть претензии. И задохнулся, закашлялся обожженным голосом, схватился за горло: вином была подкрашена водка.

Пир разразился нестройным гоготом. Лайма, откинувшись, разгульно и пьяно хохотала вместе со всеми. Один из сынов Востока поглаживал ее спину – ту самую, гладко-упругую – для того вроде бы, чтоб она не поперхнулась своим хмельным смехом. Лайма руку не отстраняла. Нет, она без Иманта жить могла...

И тогда он внезапно осознал, что высокие слова, подталкиваемые низменно-кратковременными желаниями, ничего не стоят. Дежурная похоть девальвирует признания, которые оказываются искренними лишь в тот момент, когда произносятся. Чем пылкость животнее, тем более обесценены ею *слова*, облаченные в чужие романтические наряды. Они бывают доведены до гиперинфляции горячечных просьб и обещаний, курс которых по отношению к любви падает не постепенно, как денежные единицы, а сразу, в одно мгновение, вдруг... Разочарование глыбой наваливается на человека, чувствующего иначе, и припирает его к безверию. Иманта разочарование тоже подкосило с бесцеремонной скоропалительностью.

Провожать Лайму в гостиницу он не пошел. Его тошнило... И не только от водки, подкрашенной густо-алым вином, но и от сборища, в которое он угодил. Тошнило и от себя самого, поверившего в ничего не значащие фразы и вообразившего себе невесть что.

С Имантом навсегда осталось ощущение тошноты при виде заученных пляжных ритуалов, которые – теперь он это знал! – ничего подлинного не выражали. Фальшивомонетки и фальшивомонетчицы пляжных

общений были ему противны. Обманутый слишком рано, в самом начале, он их болезненно презирал... На песке властвовала скотская примитивность, которая и держалась, как выяснилось, «на песке». Имант давно уж подозревал, что отношения бывают истинными или пляжными. Но отныне для него, как и для Дзидры, прибрежное пространство утратило золотистый цвет и стало олицетворением плотоядных стремлений, не по закону объявляющих себя чувствами.

Дзидра встретила сына на улице, возле их двухэтажного деревянного дома. Наверху была всего одна комната, которую точнее было назвать мансардой. Они сдавали мансарду на лето, но исключительно латышам или другим прибалтам. Ни один курортник-иностранец порог дома Дзидры не переступил.

Энергия беспокойства вытолкнула ее из дома, она переминалась с ноги на ногу так основательно, будто ноги были громоотводами, сквозь которые в землю уходила тревога. Увидев Иманта, она испытала успокоение, которое сменилось негромким латышским бешенством. Особенно когда Имант прислонился к сосне и его начало рвать...

– Присядь на крыльцо, – потребовала она.

Он безоговорочно подчинился матери, чья горестная судьба заставляла еще глубже, обоснованней любить ее и все ей прощать. Мужская любовь может обходиться и без достаточных обоснований (чем нелогичнее такая любовь, тем она неотвязнее!), но в сыновней любви «обоснования» присутствовать могут. Уж поверьте мне, психоневрологу...

– Присел? – спросила Дзидра, хоть видела, что сын уже опустился на ступеньку крыльца.

– Присел.

Она подошла и ударила его по щеке. Всего один раз. Большого прибалтийская сдержанность ей не позволила.

– Ты пьян? Ты связался с развратницей?!

Профессия манекенщицы была для нее равнозначна профессии шлюхи.

– Прости, мама.

Имант продолжал сидеть, чтобы она, если б вознамерилась снова ударить, дотянулась до его лица. Но Дзидра не вознамерилась.

– Иди спать, – приказала она.

– Я еще здесь побуду... немного.

Он чувствовал: опять подступает рвота. А тошнотворные воспоминания о недавних событиях распространились на весь пляж, что отделял от чистого моря. Это рвотное отношение распространилось и на все

минувшие дни, в течение которых демонстрировались не только новейшие моды одежды, но и новейшие моды нравственности.

– Мама, если можешь, уйди, пожалуйста.

– Тебе стыдно?

Он кивнул.

– Тебе плохо? Тебя тошнит... от всего этого?

Он снова кивнул.

– Пойди к морю и сполосни лицо, шею. Умойся!.. А я приготовлю лекарство.

Дзидра верила заливу, деревьям... А для Иманта и море сплелось с тошнотворностью. Быть может, на время?

Дзидра верила также и травам, которые помогали ей в прошлом исцелять сына от хворей. То были детские хвори... А тут подстерегла иная болезнь. Но и ее она изготавилась победить и изгнать.

Большевики объявили о существовании класса рабочих и класса крестьян... Эти классы, слепившись в своем единстве, образовали некий пирог, жесткость которого смягчалась прослойкой по имени «интеллигенция». Вообще-то большевики провозгласили битву за общество «бесклассовое», но так как провозглашенные цели неизменно представляли собой антипод целей осуществляемых, явился как бы дополнительный – но самый властный и могущественный! – класс... Класс начальников, в котором склеились, сцепились круговой порукой выходцы из рабочих, не желавших быть рабочими, крестьян, не умевших быть крестьянами, интеллигентов, тяготившихся интеллигентностью, а главным образом не разберешь из кого. Это злокачественное образование делало засохший пирог еще более сухим (зубы обломаешь!), определяло его вкус и цвет.

Начальники были едины в своем командном предназначении, но делились на высших, средних и низших. Свойство подразделений было таковым, что иногда они частично перемешивались, от чего вкус и жесткость пирога ничуть не менялись.

Начальники не были похожими на прежних, дореволюционных властителей, ибо те выдвигались в избранники заслугами перед страной – собственными или принадлежавшими предкам, – а у новых хозяев заслуги имелись не перед народом и государством, а перед самими собой. И состояли исключительно в том, что они сумели пробиться в начальники...

У нового класса все было совершенно особым: зарплаты, квартиры,

дачи, автомобили, больницы, походки, улыбки. Соединившись, начальники образовали то всеповелевающее и всеопределяющее, что именовалось понятием «власть». Она отличалась от *прежней* своей абсолютнейшей абсолютностью и деятельностью также во имя себя самой.

Не оставлявшие следов телефонные указания подменяли действия законодательных кодексов. По ком звонит колокол... По ком звонили звонки... Если «по ком», то, значит, обязан был восторжествовать несправедный приговор в суде или вообще где угодно. Если звонили не «по ком», а «о ком», это предвещало торжество чьего-то не обеспеченного золотым запасом достоинств благополучия. Звонки пытались вторгаться и в сферы, куда дотоле приказы вторгаться не рисковали.

Один из анекдотов, которые Абрам Абрамович относил к разряду «анекдотов-доходяг», но тем не менее любил повторять, касался как раз «звонковой законности»...

«Приходит начальник в родильный дом. Его поздравляют: «У вас родилась дочка!» – «Как дочка?! Разве вам не звонили из министерства?»

Все подчинялось «системе наоборот»: начальники были единовластными *повелителями* народа, а назывались его *слугами*. Им, начальникам, принадлежало и самое роскошное здание на всем советском прибалтийском побережье, которое было дворцом, но именовалось санаторием. Уникальным выглядел не только дворец, но и то, что было внутри и вокруг него.

«Слуги», заботясь о государственной системе и о нервной системе народа (зачем ее будоражить?!), отгородились от «хозяев» и всей окружающей действительности сплошными заборами и вовсе не проницаемыми стенами. Так было и в санатории... Стена, прикрыв территорию каменной завесой, призвана была не утомлять чужие глаза тем, к чему эти глаза не привыкли: бассейнами с морской водой, тщательно ухоженными рощами, теннисными кортами и пышными цветниками. На каждого «слугу» приходилось по несколько «хозяев» в белых передниках и халатах, которые его обслуживали. Номера «слуг» состояли из трех-четырех комнат в окружении холлов, дендрариев, саун, бильярдных и кинозалов...

– «Слуги народа» – они же начальники. «Хозяева», обслуживающие «слуг»... Быть может, эти казуистические формулы и ситуации как раз и выражают торжество демократии с точки зрения большевиков... – сказал как-то Еврейский Анекдот. – «Слуги-начальники»! До этого еще никто не додумался.

У высших начальников имелась барская странность: они позволяли себе общаться за стенами и заборами с некоторыми представителями «прослойки», как поименовали интеллигенцию. С представителями не рядовыми (ничто рядовое «слугам» не подходило), а популярнейшими и знаменитейшими. Похлопывание по плечу знаменитостей, возможно, входило в санаторно-лечебный рацион: оно развлекало начальников, развлечения же укрепляли их здоровье, жизненно необходимое слугам народа для служения их «хозяевам», кои отдыхали в Прибалтике дикарями.

Однажды «прослойку» в санатории-дворце представлял Иван Васильевич Афанасьев.

Он наивно не разобрался в том, что роскошную, многогектарную территорию дворца рекомендовалось не покидать. На территории имелось все, что требовалось для «слуг» и не должно было оказаться раздражителем для «хозяев». Недогадливый Афанасьев как-то покинул начальственный заповедник и запросто отправился в местный Дом культуры, где, как ему стало известно, ставили «силами самодеятельности» сцены из трагедий Шекспира. Силы у самодеятельности были не очень сильные, но Афанасьев, любивший обнаруживать неожиданные таланты в пору их зарождения, обратил свой взыскательный взгляд на Иманта Алдониса. Открыл его для себя...

Десятиклассник Имант во всех без исключения сценах из разных трагедий фехтовал, сражаясь или погибая за честь, справедливость, но чаще всего – за любовь.

Иван Васильевич предложил ему прибыть после окончания школы в свое Театральное училище. Оно именовалось «высшим», быть может, и потому, что попасть в него было высшей мечтой начинающих служителей Мельпомены. Приглашение было принято, но с прибалтийской сдержанностью, что тоже понравилось Афанасьеву.

Внутренне Имант возликовал, но это не повлияло на его интонации и на выражение аскетично хладнокровного лица, на сцене умевшего преображаться.

Афанасьев был легендой, и, как всякую легенду, его трудно было увидеть воочию. Но вдруг он сам, зримо явился на любительский спектакль, да еще и приметил Иманта... Да еще и позвал к себе!

– Сцена любит подобную фактурность, – произнес Иван Васильевич фразу, которая после него стала в Доме культуры не только ходячей, но и лежачей, сидячей – одним словом, повторялась, обсасывалась и обыгрывалась на все лады.

Мне вспоминается анекдот-любимец Абрама Абрамовича... «К врачу

прибегает еврей с ужасом в глазах и рыбной костью в горле. «Не волнуйтесь, – успокаивает его врач, – сейчас мы ее удалим!» И выполняет свое обещание. «Я вам отдам все! Я все вам отдам!..» – вопит благодарный еврей. «Не надо мне отдавать все... Вы дайте мне то, что хотели дать, когда кость была *там!*»

Когда «кость была там», а точнее, когда Имант грезил – в той степени, в какой умеют грезить прибалты, – знаменитым Театральным училищем Афанасьева, он резко ощущал «кость»: понимал, что попасть в училище нереально. Боль неосуществимости была тем злее, чем восторженней – по прибалтийским меркам – возносил он Ивана Васильевича на пьедестал... Но и после, оказавшись в училище, – то есть когда «кость» из горла была Афанасьевым извлечена – Имант отдавал мастеру должное с той же благоговейностью, что и раньше. Он почитал режиссера и человека.

Узнав же о взаимной любви Афанасьева и моей сестры, ограничился почитанием режиссера. Но это случилось позже...

Выше ненависти и протеста для Дзидры было лишь материнское чувство.

Потери в судьбе, неудовлетворенная жажда сопротивления истощили не только душу ее, но и весь организм: Дзидра была не просто худой, а состояла как бы из одной твердости.

Решения – даже по проблемам крайне запутанным – Дзидра Алдонис принимала лишь один раз. То, что она постановляла, что сама себе приказывала, отмене не подлежало. Ее решения становились постановлениями. Но кроме тех, что касались сына... Тут необоримая в своих намерениях и поступках Дзидра начинала метаться. И ее отрешенный от суеты лик становился подвержен земным сомнениям.

Когда сын родился, она постановила не знакомить его с отцом. Почтальон, такой же огромный и сильный, как Имант, но лишенный его деликатности и совестливости, столь долго и часто ходил по разным домам, что оставлял там после себя не одни лишь газеты и письма, но иногда и детей. Дзидра знала об этом... И все же отменила первоначальный приказ о полном отторжении Иманта от отца. Она не позволила себе ни на грош обокрасть сына, допустить, чтобы он хоть в чем-либо испытал ущербность и обделенность. Ее Имант не мог ощущать на себе безотцовщину, не мог быть сиротой даже наполовину.

Она познакомила его с отцом, вроде бы между прочим представив их друг другу. Это произошло утром, когда почтальон явился с газетами... Писем судьба Дзидру по-прежнему не удостаивала. Имант встречал

почтальона и раньше, но тот, в целях предосторожности, разговоров не заводил.

На другой же день сластолюб изменил свой почтальонский маршрут, что делал уже не раз: он был неразборчивым женолюбом и общаться с последствиями своей слабости не желал. Даже места для купаний выбирал подальше от мест кратковременных вожделений. Дом Алдонисов стала обслуживать женщина с разбухшей сумкою на плече. Сумка тянула почтальоншу к земле, хотя на плече Имантова отца тяжелой ношей не выглядела.

Свой мощный мужской организм отец Иманта поддерживал, разумеется, не с помощью утлой почтальонской зарплаты. Его бездетная жена завела шесть породистых ангорских кошек, в сравнении с которыми наша скорбная кошка Сарра выглядела плебейкой, и двух ангорских котов, перещеголявших сластолюбием и высокопроизводительностью своего хозяина. Собственных детей почтальон «продавал» в переносном смысле, а породистых котят в смысле буквальном.

Поначалу Дзидра постановила не обучать сына русскому языку. Этого требовали гнев и протест. Но материнские чувства воспротивились: не зная русского, сын, как ей объяснили, не сумел бы установить отношения с русской культурой, до уровня которой латышская еще не добралась. Первой это растолковала хозяйка соседней дачи – эффектная блондинка Эмилия, которая и на пляже постигала русское классическое наследие. На то у нее были причины сугубо личные, непосредственного отношения к искусству не имеющие... Как и Дзидра, не вынося «оккупантов», она припадала на оба колена перед литературой, музыкой и живописью Руси. Потому что к ее коленям на протяжении многих лет бросал цветы одинокий русский дворянин Георгий Георгиевич. Цветы бросал, но воззрения оставлял при себе, и отбирать их у себя не позволял никому:

– Не отождествляйте Сталина с русским народом. Он, кстати, и русским-то не был, хотя не в том дело. А в том, что русские пострадали от него еще больше, чем латыши. Они – если вы не забыли – освободили нас от нацистов. Ну а тех, кому освобождение было не нужно, я освобождаю... от необходимости бывать в моем доме.

Соседке минуло пятьдесят пять, а дворянину – давно уж за шестьдесят. Возраст и пенсионная ограниченность в средствах, однако, не мешали ему оставаться джентльменом. Дзидра же припадала на колени и валилась с ног лишь от усталости, – изящная словесность, изящество красок и звуков не занимали ее, потому что с утра до ночи и даже во сне занимали заботы

о сыне: чтобы он питался, одевался и развлекался (какая же молодость без развлечений?!) не хуже других. Для этого приходилось быть не только «смотрительницей пляжа» – в этой должности Дзидра обороняла Иманта! – а и служить уборщицей в домах отдыха. Мансарду же дома собственного приходилось сдавать. Все это не унижало ее: любовь – особенно к детям! – не может быть источником унижения.

Дзидра, мученически преодолевая себя, согласилась, что без отличного владения русским ее сын будет немать в ситуациях, которые немоты не терпят... Что он не сумеет подниматься по ступеням служебных, а может, и карьерных лестниц, к которым ее – бескорыстную, никогда не помышлявшую о личном успехе – неудержимо влекло, если дело касалось сына. Перед такой угрозой сдались гнев и протест.

Прокляв безмолвно русских классиков, которые могли бы быть поскромней и писать похуже, и русских начальников латвийских учреждений, от которых, что поделаешь, зависело восхождение Иманта, Дзидра позволила сыну приобщиться к языку Тургенева и Лескова.

Позднее выяснилось, что она поступила здраво. Не знай Имант русского, он и на сцену бы не поднялся, поскольку художественным руководителем Дома культуры был («ну конечно же») выходец из Москвы. Имант не сумел бы без переводчика воспринять комплименты Афанасьева, оценить его приглашение и откликнуться на него.

Могла ли она знать, могла ли провидеть, что искреннее расположение Ивана Васильевича и его добросердечное приглашение были заманчивым началом дороги, ведущей по воле случая в ад? Это обнаружилось за крутым поворотом, куда ничей взгляд проникнуть покуда не мог...

Дзидра вынуждена была согласиться, что иные представители нации «оккупантов» не взирали на Латвию высокомерно, не видели в ней «захваченной территории», а ощущали своей спасительницей и защитницей. Таковы были эмигранты, которые готовы были сложить за Русь головы, но от большевиков уберечь ее не смогли. Таким был и не утративший с годами ни грана дворянского достоинства и джентльменства Георгий Георгиевич... Он слыл знатоком не просто русского, а изысканного, великосветского языка. Кто-то из его предков был вице-губернатором киевским, поэтому они с матерью и бежали из столицы в Киев. Но революция и там их настигла... Дзидра доверила Георгию Георгиевичу обучение сына. Для этого требовалось предварительно, как предполагала она, самим Алдонисам переселиться в мансарду, предоставив весь первый этаж курортникам-дикарям. Дзидра рассчитала,

что таким образом она наскребет деньги на обучение сына языку, который был враждебен ей, но необходим Иманту.

Эмигрант, скромный в своих запросах, однако, как разумно сочла Дзидра, вынужден был питаться и прикрывать наготу одеждой. Да еще и ежедневно швыряться букетами... Георгий Георгиевич считался жертвою большевистской власти. Это сближало его с семейством Алдонисов, так как и оно было жертвой.

* * *

О, если бы людям было дано распознать будущее или, на худой конец, заглянуть в него сквозь узкую щелку!

Если бы нашей маме и Дзидре дано было заранее знать, какое несчастнейшее несчастье ждет Дашу и Иманта... Они бы – даже ценой собственных жизней – не пустили дочь и сына в Театральное училище, где те встретились. Никакой ценою бы не пустили! И тогда бы не разразилась трагедия, которой, я убежден, «нет печальнее на свете». И не было...

* * *

Георгий Георгиевич принадлежал к одному из старинных дворянских родов. Самые дальние его предки явились к Рюриковичу Василию Темному то ли из Литвы, то ли из Польши.

– Лучше бы из Литвы. Все же Прибалтика! – оживившись, насколько она умела, сказала Дзидра Алдонис.

У нее было гипертрофированное стремление воспрянуть и распрямиться. Ей хотелось, чтобы побольше достойных корней таилось в глубине прибалтийской почвы. И чтобы из тех корней все произрастало пошире, поднималось повыше, вровень с реликтовыми соснами на побережье залива.

– Я думаю, мы действительно отсюда пришли. И сюда же вернулись, – подтвердил Георгий Георгиевич.

Но через день уточнил:

– Я, простите покорнейше, повнимательней разобрался в старых бумагах... Нет, все же Елчаниновы явились из Польши.

Дзидра весьма огорчилась. Но что поделаешь: дворянин все приводил в соответствие с истиной, не допускал отклонений от правды даже в чем-нибудь второстепенном. Лгать русские дворяне, как поняли Дзидра и Имант, попросту не умели.

«Елчаниновы... Незначительные люди такую фамилию носить

не могли, – думала Дзидра, нехотя и частично преодолевая свою неприязнь ко всему русскому. – Если бы Елчаниновым стал случайно человек неприметный, ему бы лучше было взять псевдоним».

Дзидра Алдонис окончила всего один курс исторического факультета – до истории русского дворянства она не добралась. Семейные обязанности преградили ей дорогу к высшему образованию. И с помощью Георгия Георгиевича она восполняла упущенное... Потихоньку, не сразу Дзидра начала все же отделять дворян от «захватчиков»: они как-никак тоже пострадали от той власти, что вторглась в ее страну.

Георгий Георгиевич гордился своей родословной не оттого, что это была его родословная, а потому что она сама по себе заслуживала уважения и гордости. А если бы не заслуживала, он, не умевший кичиться и приукрашивать, смирился бы и гордости не испытывал.

– В жизни, как и в искусстве, – сказал он однажды, – возможна либо вся правда, либо никакой правды. Про искусство так думал один из великих. Не помню, кто именно. А я добавил про жизнь...

Он не стыдился признавать, что чего-то не помнил или чего-то не понимал. Это не унижало Георгия Георгиевича, ибо правда, по его убеждению, лишь возвышала. Он говорил то, что думал, – и эта дворянская норма, эта естественность многих изумляла. Но сам он передвигался твердо и прямо... Чудилось даже, будто он затянут в корсет. Такая независимая походка иным казалась признаком какой-то болезни: валили со своих больных ног на здоровые. Походка эта досталась Георгию Георгиевичу от веков.

Елчанинов часто и с почтением обращался к тому энциклопедии Брокгауза и Ефрона на букву «Е». Невыцветавшая позолота на кожаном переплете отнюдь не выглядела признаком украшения: та энциклопедия тоже усвоила манеры дворянские.

– Мы явились к Василию Темному... То есть, простите покорнейше, мои предки явились, – уточнил не умевший ничего искажать и преувеличивать Елчанинов. – Василий Темный был, как известно, слепым. Но поверьте, и очень зрячим! Он разглядел и оценил моих дальних-предальных родственников. *Оценивать* по достоинству – вот чего не умеет власть.

– Она ничего хорошего не умеет, – вторглась в рассказ о елчаниновской родословной Дзидра. – Только и умеет делать людей несчастными!

– Да, оценивать и ценить не умеет... – грустно сосредоточился на своей мысли Георгий Георгиевич.

Рассуждения потомственного дворянина Георгия Георгиевича

напоминали слова потомственного еврея Абрама Абрамовича. Только вот анекдотов дворянин не рассказывал, а был богат историческими сведениями. В остальном же он настойчиво напоминал лучшего друга нашей семьи. Даже их имена-отчества кажутся мне знаменательными и схожими: Георгий Георгиевич, Абрам Абрамович... К тому же Елчанинов, как и Еврейский Анекдот, работал в издательстве: он переводил русскую классику на латышский язык, которым тоже владел блестяще. И Эмилия со вздорным, взбалмошным преувеличением демонстрировала перед своим «вечным поклонником», что она в ответ не только его поклонница, но и поклонница русских волшебников слова.

Даша, позже переселившись в Ригу, стремилась как бы переселить туда и нас всех: в подробностях узнавали мы от нее о том, что происходило в доме Алдонисов и вокруг него. Утеря родного крова не сделала сестру словоохотливей, но все-таки сблизила ее с эпистолярным жанром, в котором она прежде не выступала. Внезапная разорванность нашей семьи, слитность которой раньше представлялась мне нерушимой, и Игоря за океаном почти ежедневно приобщала к эпистолярности.

Письма, только они, стали связующей – не боящейся ни расстояний, ни огня, ни меча – нитью между Иерусалимом, Прибалтикой и Нью-Йорком.

«Единение людей не определяется количеством их встреч и общений, – вспоминал я слова Еврейского Анекдота. – Если б оно определялось таким образом, самым близким другом моим был бы дворник: я вижу его каждый день».

Раньше слова его меня убеждали, а теперь утешали.

Но вернусь к поре более ранней. То забегая вперед, то возвращаюсь... То возвращаюсь, то забегая...

Столь часто напоминавший Еврейского Анекдота дворянин Георгий Георгиевич сообщил Дзидре и Иманту:

– Я – всего одна из ветвей древнего рода. Древо наше срублено, а ветка уцелела, осталась, живет. В природе так не бывает, а в жизни как видите...

Дзидра начала подумывать, что русские – это одно, а большевики нечто совсем иное. Или даже противоположное!

– Вы обучайте Иманта тому, *вашему* русскому языку, – попросила она.

Его русский язык не зазнавался, не набивал себе цену, но был исконным. И снайперски пронизательная Дзидра это почувствовала.

– Большевики считают, что надо уравнивать людей не счастьем, а нищетой и горем, – сказал Георгий Георгиевич. – «Вот если все, кроме вождей и начальников, станут одинаково бедными морально»

и материально, тогда будет рай!» – так, думаю, полагают они. Путать рай с адом – это и составляет основу их философии.

Я узнавал об этих беседах и размышлениях из писем Даши, а она – со слов Иманта.

И вспомнился мне анекдот Абрама Абрамовича, который он относил к разряду не вполне «доходяг», а умеренно «дряхлых».

«В семнадцатом году графиня, которую еще расстрелять или утопить не успели, слышит необычный шум за стенами своего дома. «Что там случилось?» – спрашивает она у служанки. «Госпожа, там революция...» – «И чего они хотят?» – «Чтобы не было в России богатых». – «Как странно... Мой предок тоже был революционером и даже декабристом, но он мечтал, чтоб в России не было *бедных*».

– Большевики все поставили с ног на голову, – грустно как бы подвел итог Георгий Георгиевич. – А когда стоят на голове, она выполняет функции ног – и соображает на их уровне. Вы заметили: в Россию почти никто не эмигрирует. Все бегут *оттуда*... Очень обидно.

Отношение Дзидры к русскому народу под влиянием Георгия Георгиевича все упорнее переставало быть однозначным. Она утверждалась в том, что русских олицетворяют дворяне, а что большевики – такие же враги России, как и Латвии.

Она знала, что до семнадцатого года ее земля тоже составляла часть Российской империи... Но то было, убеждала себя Дзидра, мирным, полюбовным сосуществованием.

– Я не намереваюсь обучать своему языку за денежное вознаграждение, – сказал Георгий Георгиевич.

– Но за работу положено... – пыталась возразить Дзидра.

– Мой великий язык – не товар, – вопреки дворянским манерам, перебил ее Георгий Георгиевич. – Мой язык можно подарить. Но им нельзя торговать.

Дзидра больше не возражала. Ибо возражать было бессмысленно.

Главной чертой характера хозяйки соседней дачи Эмилии была взбалмошность. Она взбалмошно одевалась, взбалмошно ненавидела «окупантов», взбалмошно была упоена русской литературой («Начала перечитывать «Анну Каренину» с конца – и уже добралась до середины»). Она предпочитала взбалмошно читать книги «с конца», чтобы заранее знать, чем все завершится.

Однако влюбленного человека недостатки и странности его «предмета» привлекают порою сильнее, чем достоинства. Елчанинов умилялся экстравагантным поступкам Эмилии. Он обнажил свое отношение к ней, вызвав на дуэль банального пляжного «приставалу». Так называли на побережье курортников-ухаживателей... Курортник не совершил ничего такого, за что следовало бы всадить в него пулю. Он взирал на Эмилию более игриво, чем хотелось бы Георгию Георгиевичу, и дежурно осведомился, где ее дом. Эмилия, как и Дзидра, была женщиной без возраста. Но если вневозрастность Дзидры определялась внешним хладнокровием и аскетизмом, который унаследовал Имант, то вневозрастность Эмилии была сотворена ее экспансивностью. «Она может быть пожилой, а может и молодой», – думалось о Дзидре. «Она может быть молодой, а может и пожилой», – думалось об Эмилии.

Георгию же Георгиевичу экспансивность виделась обаянием непосредственности, а крикливая вздорность, что частенько обуревала Эмилию, – искренностью и честностью. У любви свое зрение: она видит не глазами, а чувством.

– Адрес понадобился? – съязвила Эмилия, обращаясь к «пляжному приставале» на русском языке с легким и как бы нарочитым латышским акцентом, который казался Георгию Георгиевичу обворожительным. Любовь не только видит, но и слышит по-своему.

Не уловив угрожающей иронии, обнадеженный «приставала» кинулся к пляжной сумке, выхватил оттуда обрывок бумаги, карандаш и приготовился записывать адрес как место будущего свидания.

Георгий Георгиевич встал, словно заковавшись в корсет, и произнес:

– Я вас вызываю!

Елчанинов и на пляже не расставался с костюмом и галстуком. Перчаток при нем не было, но казалось, что он бросил перчатку к ногам «приставалы».

– Я вас вызываю! – повторил он.

– Куда?

– К барьеру, милейший. К барьеру!

«Приставала» огляделся, но барьера не обнаружил. Однако Елчанинов не шутил, ибо шутить «ритуалами чести» у дворян не положено.

В однокомнатной квартире Елчанинова на стене, устланной старинным ковром, как на музейном стенде, покоилась фамильная коллекция холодного оружия. Когда-то, еще при буржуазном режиме, он получил право на хранение этой коллекции. И хотя при советском режиме защищать свою честь было запрещено, о ковре с холодным оружием

донести никто не успел или не догадался.

– Что же вы медлите? – произнес, все еще не расковымаясь, Елчанинов. – Принимаете вызов?

«Приставала» не принадлежал к дворянскому роду, а потому не уразумел, что значит быть вызванным на поединок. Животным было его влечение к пышнотелой Эмилии и животным был страх, мгновенно подавивший влечение. Курортник, рыхлый детина, опасно озираясь на Елчанинова, которому по возрасту в сыновья годился, нескладно ретировался, схватив в охапку одежду и неопратно волоча по песку пляжную сумку. Георгий Георгиевич поторапливал его презрительным взглядом. Он знал, что дуэль невозможна, но дворянскую потребность «вызвать к барьеру» за дерзость и неучтивость удовлетворил.

Эмилия отблагодарила победителя чересчур звучным, взбалмошным поцелуем. Она тоже была далека от дворянского сословия. За что же Георгий Георгиевич обожал ее?

Разве об этом спрашивают?..

«Мой великий язык – не товар. Мой язык можно подарить. Но им нельзя торговать!» – сказал Георгий Георгиевич.

Дарить Иманту свой язык он начал в присутствии обеих соседок по дачам. Эмилия этого пожелала, а Дзидра об этом попросила.

Все собрались в квартире Елчанинова. У него была всего одна комната, но квартира при этом не казалась маленькой. Плотнo притершиеся друг к другу книги, среди которых не было ни одной случайной, уверенный в себе письменный прибор, вросший в такой же солидный стол красного дерева, которое по цвету, под влиянием времени, перестало быть красным; диван, до того гостеприимно просторный, что вполне мог служить постелью; не менее гостеприимные стулья и кресла; разметавшаяся по настенному ковру коллекция холодного оружия... Все это выглядело не старинным, а вечным. С фотографий, не поблекших, а чуть затуманенных годами, смотрели люди, характеры и лица которых тоже не могли сгинуть: они должны были найти продолжение в потомках. Одним из них был Георгий Георгиевич.

Вспомнив, должно быть, историю с «пляжным приставалой», Елчанинов сказал:

– Урок я могу не *дать*, а лишь преподавать... Но мы обойдемся вообще без уроков. Будем читать стихи!

Он любил повторять, что за весь двадцатый век на Руси нам явились только три гениальных поэта – Блок, Есенин и Гумилев. Это звучало

не упреком веку или Руси, а хвалой трем поэтам.

Абрам Абрамович полагал, что поэтов-гениев за целый век было всего два, – и такое «преуменьшение» юдофобы вполне могли бы объявить русофобией.

Блок, Есенин, Гумилев... Всех их, как считал Елчанинов, сгубила революция: один, провидя грядущее, погиб от тоски, второй повесился, третьего расстреляли.

– Но сейчас мы убедимся, что они не подвластны ни болезни, ни веревке, ни пуле.

Георгий Георгиевич пригласил в свою квартиру стихи. И они пришли...

– Даже не заглядывает в книги. Вы видите? Даже перед собой их не держит. Все наизусть! – взбалмошно заголосила Эмилия.

Кажется, это потрясло ее больше, чем сама поэзия. И резко диссонировало с задумчивой сдержанностью Елчанинова.

За что же Георгий Георгиевич любил ее?..

Никто не задавал ему вслух вопрос, на который не могло быть ответа.

А Елчанинов продолжал читать наизусть. Продолжал весь вечер. Он читал неделями, месяцами... Обращался и к русской прозе.

– Целые главы – наизусть!.. – голосила Эмилия. – Целые главы!..

Имант не только прилежно слушал и ученически перенимал интеллигентность дворянской речи. Он понял, что речь эта выражала дух дворянского общения с миром и его катаклизмами: не изменять интеллигентности ни при каких обстоятельствах – это и есть настоящая интеллигентность. Не позволяя себе раздражаться или терять достоинство даже во имя возвышенных целей, дворянские манеры как бы приникали к страдальческим исповедям великих писателей.

Имант, тоже не заучивая, запоминал стихи – слово в слово. А потом уж и прозу... Он соединял интеллигентность с актерским даром. Прибалтийское спокойствие ни на миг не отвлекало его от проникновения в чужие и далекие муки. Негромкое постижение мук потрясает сильнее, чем громогласное... Имант, как и Георгий Георгиевич, чувствовал: если мысль и боль достигают крайней вершины, их нельзя дополнить или чем-либо «перекрыть».

Когда Алдонисы, накануне отъезда Иманта в Москву, устроили прощальный вечер, Георгий Георгиевич пришел раньше назначенного часа. И завел разговор с Имантом в присутствии Дзидры.

– Ты не должен думать, что едешь в страну друзей, – сказал он без напутственной торжественности. – У каждого человека друзей не так много, чтобы из них можно было образовать целое государство. Но ты

и не едешь в страну врагов. И такое ощущение было бы несправедливым! Русский народ сговорчив и чрезмерно покорен, иначе бы он не потерпел правителей, которых терпит более полувека. С правителями ему вообще не везет... Петры Первые и Екатерины Великие не часто управляли русской землей, а таких добрых реформаторов, как Александр Второй, на ней убивали, вместо того чтобы возносить. Это земля парадоксальная, но – всему вопреки! – великая. Тебе многое там не понравится, но ты можешь и многому научиться.

Дзидра замкнула губы на засов. Но как бы обыкновенным ключом, а не протестом и гневом...

Раньше Дзидра ненавидела русских вообще – всех, без исключения. Но получилось так, что именно русский дворянин сумел превратить тяготу ее одиночества в тяготу ожидания, которая все же не столь обременительна для души. И тогда Дзидра окончательно персонифицировала свой гнев, обрушила всю его ярость на официальных и неофициальных коммунистов, а остальных русских, как потерпевших бедствие, даже сроднила с собой.

Четыре года Имант в училище Афанасьева постигал актерское мастерство, а Дзидра с мучительным напряжением ждала его приездов, писем и телефонных звонков.

Она мысленно добавляла к невинно убиенному Александру Второму других невинно убиенных на русской земле – в том числе своего отца, мужа и первого сына. Ей чудилось, что и второго сына на той земле могли подстергать покушения. При каждом удобном и неудобном случае она упреждала Иманта о возможных бедах и провокациях. Он отвечал, что ничего не боится. Отсутствие боязни, однако, это еще не отсутствие опасности. Дзидра – что ей оставалось! – разубеждала себя в том, что сама же вообразила. Но делала это не в одиночку, а вместе с Георгием Георгиевичем. В результате, напряжение – пусть не поровну! – но все-таки распределялось на двоих и немного ослабевало. Тем более и сын, отвергнув боязнь как постыдное чувство, сразу переходил к подробным описаниям драк со смертельным исходом, но не на улицах, а в театральных трагедиях. «Вчера я был заколот, убит наповал, – сообщал он. – Но завтра, не волнуйся, мама, я сам проткну недруга шпагой!»

«А ведь и у тех юношей, пусть придуманных, сочиненных, – горевала Дзидра, – тоже были матери!»

По «системе Афанасьева», занятия в аудиториях на всех курсах были лишь прологом, комментарием к созданию учебных спектаклей. Подвиги, измены, предательства, поединки кипели на подмостках училища, в его

залах и коридорах.

Значительность писем из Москвы возрастала оттого, что читал их Георгий Георгиевич со своим чистейшим петербургским выговором, и в квартире, где обитала вечность. Имант потому и писал по-русски, адресуясь к матери и Елчанинову одновременно. Дзидру это не обижало...

Имант рассказывал о занятиях, о репетициях и спектаклях, что происходили на сцене, а о конфликтах и драмах, автором которых была жизнь и в которых ему тоже приходилось участвовать – без них, увы, никогда не обходится, – он умалчивал.

Эмилия неизменно присутствовала на этих чтениях. Восклицания ее были экспансивно нелогичными: «Напишите, чтобы он прочитал «Крейцерову сонату» Льва Толстого. Тогда он поймет, что русским женщинам верить нельзя!»

Она по-прежнему упивалась русской классикой. Однако возвышенные творения наталкивали ее на весьма практичные житейские выводы. Георгий Георгиевич, похоже, не обращал на это внимания. Любовь умеет проходить мимо тех событий, которые должны бы противоречить ей и уж никак с ней не стыкуются. Она избегает вопросов, на которые, как я уже писал, нет ответов. Это романтическое увлечение Елчанинова не увядало, как и его букеты, которые он почти ежедневно обновлял. Но разговоры о законном браке между ними не возникали: Елчанинов был нездоров, его часто подкарауливали приступы астмы, которые хватили за горло и грудь... Он считал себя «не вправе претендовать».

– С людьми надо делиться здоровьем, а не болезнями.

Но было и еще нечто – трудноуловимое, неформулируемое, – что притормаживало его, а Эмилию, при всей ее вздорности, удерживало от претензий. «Пусть будет, как есть, – говорила она себе. – Если каждый день по букету, зачем просить два?» Кроме того, Эмилия робела перед однокомнатной дворянской обителью и ощущала, что в вечность явно не вписывается.

Несколько раз Имант намекнул в письмах, что неравнодушен к студентке по имени Даша.

– Он не прочитал «Крейцерову сонату»!

Тело Эмилии встрепенулось и по причине своей мясистости или, деликатнее выражаясь, пышности долго не могло вернуться к первоначальному состоянию, дергаясь разными своими частями, существовавшими как бы самостоятельно, независимо друг от друга. Имя «Даша» представилось Эмилии вызывающе «оккупантским». Уж мог бы подобрать что-нибудь не такое типичное!

Дзидра замкнула губы на засов, но уже не обыкновенным ключом, а накрепко. Неужели на земле, где смогли убить даже безвинного и доброго царя Александра Второго, готовилось покушение и на ее сына?! Она гнала от себя эту тревогу. Но гнала в одиночку, потому что Георгий Георгиевич в имени Даша ничего предосудительного не обнаружил.

И вдруг Имант с олимпийским – или прибалтийским – спокойствием сообщил, что женится на Даше Певзнер и привозит ее на свое побережье.

– Певзнер?! – взбудоражилась Эмилия так, что самостоятельно зажали все части ее обильного тела. – Певзнер? С такой фамилией у нас был еврей-аптекарь.

– Ну и что? – поинтересовался Георгий Георгиевич.

– А то, что Имант, который мне вроде сына родного, женится на еврейке! Это невозможно. Они хуже русских! Имант и жидовка? Так называли *этих* у нас, в рижском дворе. Тут какая-то чертовщина, какое-то зелье! Ты, Дзидра, обязана разрушить и запретить... Ведь евреи – они, они! – устроили русскую революцию. Мне говорил отец. И вы, Георгий Георгиевич, как дворянин...

– Я живу на этом свете благодаря еврейской семье, – голосом, которым он вызывал на дуэль, сообщил Елчанинов. И поднялся, как бы заковавшись в корсет.

– Вы? Благодаря еврейской семье?! Дзидра, ты что-нибудь понимаешь? Дзидра замкнулась.

– Меня укрыла в своем доме та семья... когда я был юнкером и меня должны были приставить к стенке. Всего-навсего расстрелять! Вы слышите? Еврейская семья спрятала меня от ЧК. Это случилось в Киеве. Был восемнадцатый год... Я остался жив – и теперь мне за шестьдесят. А отца той семьи приставили к стенке вместо меня. Да, да, за меня и вместо меня... Его фамилия была Абрамович.

– Абрамович?!

Похоже было, что Эмилии всадили кинжал под лопатку.

– Сын того Абрамовича в первый же день своего рождения стал сиротой. Из-за меня... Понимаете?

– Здесь какое-то недоразумение. Какой-то обман! – Эмилия никогда не умела вовремя остановиться. – Чтобы евреи...

– Вы – не дай Господь! – не антисемитка? – осведомился Елчанинов. – В истинно дворянских семьях антисемитов на порог не пускали.

Получилось, что он указал Эмилии на порог. Быть может, раньше, когда он был более здоровым и молодым, Елчанинов на это бы не решился:

любовь могла победить убеждения. Но с годами все качества, определяющие человека, – и высокие, и порочные – прогрессируют. У Елчанинова прогрессировали достоинства, потому что они были сутью его души.

Эмилия не сразу, а лишь с третьей попытки освободилась от гостеприимства глубокого кресла... И суматошно ринулась в коридор. Она была уверена, что Георгий Георгиевич ринется наперерез. Но он демонстративно погрузился в письмо.

За что он любил Эмилию, постичь было сложно. Но почему ее беспрепятственно отпустил – стало в одно мгновение ясно.

Дзидра, как и Эмилия, понимала, что покушение на Иманта совершено. Не смертельное, но все-таки покушение... Однако история Елчанинова, которого она, особенно в отсутствие сына, стала считать членом своей семьи, воздвигла плотину на пути протеста и гнева. К тому же антисемитская свара, затеянная хозяйкой соседней дачи, была неприятна Дзидре. Русская, еврейка или татарка покорила Иманта – это было ей безразлично. Горько, что не латышка...

– Вы думаете... Имант не совершает ошибку? – стесненно выговаривая слова, спросила Дзидра.

– Я не знаком с этой девушкой. Но фамилия ее не должна играть никакой роли. Ни положительной, ни отрицательной... Никакой! – Поразмыслив, Елчанинов добавил: – Я уважаю еврейский народ. И обязан ему всего-навсего жизнью. Простите покорнейше, но вспоминать об этом буду еще не раз. Подобное забывать безбожно...

* * *

«Роман с вырванными страницами»... С вырванными подробностями, никак не повлиявшими на судьбы людей, которых я люблю и которые живут в моем романе. Но иные из которых уже давно не живут на земле... Как? Почему? Об этом – не сейчас, а позже, потом...

Обыденность... Промозглое слово. Зачем нужны страницы о ней? Значительно то, что взрывает повседневность и образует на ее дороге пропасти, словно глубокие шрамы бедствий, или холмы и горы, как вершины, как свидетельства торжеств, ликований.

Бывает, что торжества или горести надолго окрашивают жизнь человека. Но полностью вытеснить блеклую обычность не удалось еще никому. Не хочу разводнять тот священный кровавый ток взаимной любви и взаимной тревоги, который был сутью существования – былого

существования – нашей семьи.

То, что расскажет мне, оказавшись волею судеб в Иерусалиме, латыш Имант, и то, о чем напишет нам не оказавшаяся в Иерусалиме еврейка Даша, будет лишено второстепенных подробностей. До умопомрачения прокручиваю я в памяти каждое *его* слово, каждое *ее* письмо, каждую страницу ее дневника. Они только о том, что «сыграло роль». Эти слова напоминают театральный термин, но ведь и бытие человеческое, как уж не раз говорилось, тоже спектакль. Иногда драма, а чаще трагедия... Я не встречал жизни, которая представляла бы собой «в чистом виде» жанр комедии или тем более – водевиля. Не встречал. Забегаю вперед, забегаю вперед...

Назвав свою эпопею «Человеческой комедией», Бальзак иронизировал над суетностью отчаянных людских противостояний. Я позволил себе в начале второй книги романа дерзко не согласиться с Екклесиастом... А теперь, вопреки тому, что думал прежде, усомнюсь и в бесспорности бальзаковской иронии: со стороны подчас кажется суетой сует и то, что отбирает у человека все его физические и духовные силы. Уж поверьте мне, психоневрологу... Но ведь и трагедии по ужасаемости – какое тяжкое слово! – не одинаковы. Финальный кошмар нашей семьи беспределен сам по себе, а не потому, что это *моя* семья и беды ее я гипертрофирую. Нет, я стал мыслить реалистичней, чем брат-психолог. Мой реализм – не синоним цинизма, а синоним случившейся правды, которой нет «печальнее на свете». Пусть я повторяюсь... Но шекспировская строка – это пуля, которая никогда, до последнего часа, не будет извлечена из моего сердца. Не родился еще целитель, который способен ее изъять.

Почему же все так случилось? Чтобы осмыслить, осознать, разрываю туман повседневности. То забегаю вперед, то возвращаюсь... И вырываю страницы, вырываю страницы...

* * *

Мне неизвестен человек, который кого-нибудь любил бы сильнее, чем себя самого. Сколько я предвижу наступательных возражений! «А любовь матери?» Это наивысшее чувство – любовь к своему продолжению. Оно, на мой прагматический взгляд, тоже эгоистично: свой ребенок дороже других детей не потому, что он лучше, а исключительно потому, что он *свой*. Если даже преступник или дебил! Справедливо ли это? Обожать своего ребенка трепетней, чем любого другого, – даже если тот, другой, Моцарт или Ван Гог! – тоже значит любить самого себя. Так ли это?

Кажется, я опять вступаю в конфликт с общепринятыми воззрениями. Общепринятые – не обязательно самые точные. Они самые привычные, но внезапно могут быть разрушены, опровергнуты тем, что неопровержимей воззрений: событиями и фактами.

Любовь к женщине – тоже любовь к себе, к своим наслаждениям и страстям. А когда они не удовлетворяются, пылко нежные чувства превращаются в пылко раздраженные, даже злобные, или тускнеют... Если б мужчина обожал женщину вне зависимости от своих потребностей и интересов, он охотно уступил бы ее тому, с кем она вознамерилась изменить: пусть будет счастливее, пусть ей будет блаженнее. Но какой же мужчина так мыслит и поступает? Кто ощущает удовольствие оттого, что любимая испытывает удовольствие с кем-то другим? Стало быть, и мужское чувство эгоистично. И женское тоже...

Мне неизвестен человек, который следовал бы иным порывам, иным законам. Но Георгий Георгиевич знал такого человека. Это был отец Абрама Абрамовича. Он не дожил до рождения собственного сына, чтобы чей-то чужой сын продолжал свой путь по земле. Конечно, он не думал, что идет на верную гибель, он надеялся, что все обойдется. Но сознавал, что может не обойтись... И добровольно пошел не на какой-нибудь рядовой риск, а на роковой и смертельный. Он не мог любить юнкера Георгия Елчанинова сильнее себя, своей юной жены и своего будущего ребенка. Но сильнее, чем любил себя, он ненавидел жестокость. И Георгий Георгиевич, считая еврея Абрамовича-старшего вторым отцом, приплюсовал как бы по наследству его готовность переступить во имя справедливости через себя к такой же – своей собственной – дворянской готовности. Елчанинов жил благодаря подвигу – и сам готов был на жертвенные поступки.

Встречать на вокзал Дашу и Иманта он отправился вдвоем с Дзидрой, предупредив накануне, что Эмилия, хоть и знает Иманта с детства, встречать его жену не имеет права.

Она произнесла всего несколько фраз, которые ошеломили его. Всего несколько... Но такова суть дворянства: всего один неуважительный жест, всего одно оскорбительное высказывание – и отступления быть не может: к ответу, к отмщению, к барьеру. Или к разлуке...

Дзидра уже около года не видела сына. Раньше он умудрялся приезжать даже на субботы и воскресенья. А потом его приезды стали заменяться виноватыми телефонными звонками и письмами. Чем длинней становился отрыв от родного дома, тем длинней становились и письма, в которых

прежде нужды вовсе не было: Имант успевал обо всем рассказать матери в электричке, пока они ехали от Риги до загородной станции Майори.

Дзидра поняла, что любовь к Даше хоть и не совсем одолела любовь к матери, но соперниц у той любви быть не могло.

«Это разные чувства!» – пыталась она утешить себя расхожей формулировкой. «Да, разные! – вроде бы соглашался, но на самом-то деле насмешливо возражал ее стойкий, не привыкший обольщаться разум. – Совсем разные... Одно – недавнее! – не оставляет места ни для чего и ни для кого, кроме себя, а другое, стаж которого исчисляется почти всей жизнью сына, приросло к организму, как пальцы руки или ноги, но, увы, напоминает о себе не часто. Одно причиняет боль, возбуждает, восторгает, сводит с ума, а другое может и вовсе притихнуть, не ощущаться. Так не было прежде, но стало теперь...»

У Дзидры Сталин похитил все: отца, мужа, старшего сына...

Неужели и второго, младшего, она тоже теряет?

Не видевшая сына более десяти месяцев – с осени и до середины лета, Дзидра первый свой взгляд на перроне все же не смогла подарить ему, а вонзила в мою сестру. Кто она, сумевшая отобрать и у Иманта все взамен себя самой?

На Дашу, были устремлены и другие взоры: мужчины, тоже на расстоянии, впивались в нее, забывая о приехавших и встречающих, а женщины – молча протестуя против такой забывчивости. Внезапно Дзидра испугалась за сына. Она, всего минуты назад желавшая хоть чуть-чуть отторгнуть Иманта от «окупантки», от завладевшей им любви, стала ревновать Дашу к мужчинам, взоры которых не желали учитывать присутствие Иманта. Если бы его жена была некрасива, Дзидра бы оскорбилась. Но чересчур ошеломлявшая Дашина внешность все более очевидно устремляла мать на защиту сына...

Женщин успех сладостно будоражит. Кроме всего прочего, он дарит им уверенность в себе и уверенность в будущем. К успеху нельзя абсолютно привыкнуть, и даже общепризнанные красавицы всякий раз реагируют на него выгодными для себя способами, проверенными и отработанными. Теми, которые «играют на успех» и его увеличивают... Они демонстрируют свои завоевательские возможности, как знаменитые люди стараются чаще всего не оставлять свою популярность в тени, не замеченной окружающими. Но Даша к своим двадцати двум годам от успеха устала. В Театральном училище неотразимая привлекательность сестры ограждалась сперва Афанасьевым, а затем Имантом. Но взгляды, комплименты, намеки все равно не оставляли сестру в покое. И она,

как только могла, от успеха своего уклонялась. Но чем настойчивей уклонялась, тем настойчивей он преследовал.

Однако каждый склонен видеть то, что ему хочется видеть. И Дзидра углядела в Дашином стремлении оттолкнуться от мужских взоров стремление их к себе притянуть. Уже на перроне она страдала за Иманта... Он сам, казалось, никакой опасности не замечал, но ведь матери тревожатся за сыновей гораздо острее, нежели сами сыновья за себя... И нежели – что греха таить? – они тревожатся за матерей.

Георгий Георгиевич, голос, манеры и облик которого умели все деликатно и без конфликтов расставлять по местам, произнес:

– Поздравляю вас, милейшие!

Слово «милейшие» на этот раз прозвучало, как «милые». Елчанинов еще дважды или трижды повторил свое поздравление. Мужчины, что при виде Даши будто хватались за невидимый внутренний стоп-кран и опускали чемоданы на платформу, не понимали, с чем именно Георгий Георгиевич поздравлял, но фраза его объединила Иманта с Дашей и постепенно оттолкнула непрошенных.

Георгий Георгиевич поцеловал Даше руку не мимоходом, а с уважительной ритуальностью.

– И я поздравляю, – присоединилась к нему Дзидра.

– Спасибо, мама, – сказал Имант и, пригнувшись, как бы на треть «сократив» себя, поцеловал ее в щеку.

Даша поцеловала свекровь в то же место той же щеки.

Все невпопад и растерянно присоединялись друг к другу... Самостоятельно и независимо существовали лишь любовь Иманта к Даше и Дзидры к Иманту.

Сестра же моя, как показалось Дзидре, предоставила ее сыну право и возможность перед собою благоговеть.

Вещей было много: Даша в Латвию не приехала, а *переехала*.

Имант сосредоточился на том, чтобы она не притронулась ни к одному чемодану. Это отвлекало его внимание от матери и Георгия Георгиевича.

– Помню, как покойная супруга растерялась, бедная, при первой встрече с моей покойной матерью, у которой был весьма властный характер. – Елчанинов шутливо, но выразительно глянул на Дзидру. – Я из-за той давней напряженности, помнится, забыл поцеловать маму, хотя бесконечно ее почитал и любил.

«Имант не забыл... И на том спасибо!» – подумала Дзидра.

Даша успела привыкнуть, что мощная спина мужа ограждала ее от любых тяжестей, и в том числе чемоданных. К этому привыкают охотно

и быстро... Она не стала делать вид, что старается оказать ему посильную помощь, которая Иманту была не нужна.

«Пусть она взваливает на него только эти тяжести!» – молитвенно произнесла про себя Дзидра.

В доме Алдонисов, на побережье, Георгий Георгиевич преподнес новобрачным бронзовые подсвечники. Они были фамильными, но не потускнели от времени, а, потемнев, словно насупившись, обрели задумчивость и таинственность. Подсвечники, как и все, что было связано с родом Елчаниновых, принадлежали вечности. Два подсвечника должны были символизировать вечность уз, скрепивших две жизни.

Дзидра не хотела выражать радости по поводу бракосочетания сына, поскольку никогда не выражала того, чего не испытывала. И подарка молодым не преподнесла.

Но подарком выглядел ужин. Даша взирала на стол, как на выставку экспонатов, подчас ей незнакомых. Самыми редкими из них были разнообразнейшие блюда из даров моря. При всей своей нарочитой неженственности кулинаркой Дзидра была отменной – и этим напоминала, что все же к прекрасному полу принадлежит.

Окна на соседней даче Эмилии не светились, а полыхали: Алдонисы, но прежде всего Георгий Георгиевич, должны были заметить, что Эмилия дома и ее следует пригласить.

– Я схожу за тетей Эмилией, – предложил Имант.

Губы Дзидры сковались знаком вопроса.

– Этого не следует делать, – с твердостью произнес Елчанинов.

Он все совершал по-дворянски определенно: спасал, отстаивал то, во что верил, приближал к себе или отторгал от себя.

– Почему не следует? – спокойно удивился Имант. Он все осмыслял без паники. И никогда не удивлялся навзрыд.

Дзидра не расковала губ: она не могла объяснять фразу Георгия Георгиевича ложью. А он вообще не умел хитрить.

– Есть слова и поступки, которых я не прощаю. Даже женщинам.

«Даже любимым женщинам?» – хотел спросить Имант. Но удержался.

– Это касается только меня. Когда я был юнкером, еще в восемнадцатом году... меня спрятали от ЧК и спасла еврейская семья. Эмилия же не любит евреев. Как можно не любить целый народ? И *такой* народ?! – Не глядя на Дашу, чтобы она не приняла что-либо на свой счет, Георгий Георгиевич подвел итог: – Есть взгляды, которые определяют не поверхностный, а истинный облик человека. Вы меня

понимаете?

Даша, не успев еще приступить к еде, хотела выразить благодарность хозяйке дома. Но, услышав Георгия Георгиевича, о своем намерении позабыла. И бутылка шампанского, выстрелив в потолок, не заставила ее вздрогнуть.

– В каком городе... это произошло? – запинаясь, что актрисам несвойственно, спросила сестра.

– Вы про историю с еврейской семьей? И про мою юнкерскую пору?

– Да... Я бы хотела узнать, если можно...

Дзидра полоснула Дашу протестующим взглядом: нашла время для выяснений!

Пена бесцельно вытекала из бутылки на скатерть.

Шампанское и бокалы для Иманта не существовали, поскольку стол и пиршество не существовали в тот миг для Даши.

– Это было в Киеве, – ответил Георгий Георгиевич. – Но так давно, что не стоит отвлекаться от главной цели...

– И отец семьи не дожил до рождения сына?

– Не дожил.

– Его расстреляли?

– Расстреляли. Откуда вы знаете?

– Это была семья Абрамовичей?

– Откуда вы...

Потрясенный Георгий Георгиевич уже не призывал начинать ужин.

– Можно я позвоню? – спросила у Дзидры Даша.

– Звони! – поспешил разрешить Имант, понимая, что мать способна на резкость: ее хлебосольный подарок оказывался как бы незамеченным. Он взял в руки телефонный аппарат, сняв его с тумбочки, и держал в руках, чтобы Даше не доставалось и столь малой тяжести. Он протянул ей лишь трубку.

Даша набрала код Москвы и номер нашего домашнего телефона. Тогда наша семья разорвалась лишь на две части, а не на три: переселения в Иерусалим и Нью-Йорк были еще впереди, *предстояли*.

Подошла мама:

– Вы с Имантом благополучно доехали? Слава Богу!

– Абрам Абрамович у нас? – не сообщая подробностей о своем путешествии, спросила сестра.

Где же еще мог находиться вечером Еврейский Анекдот, как не у нас дома, как не возле мамы?

– Абрам Абрамович... Такое произошло! Вы не представляете...

– Что произошло? – забеспокоился он.

«Что-то случилось?!» – мгновенно отреагировал рядом мамин голос.

– Не волнуйтесь... Но просто трудно себе представить! Я встретила... – продолжила не по-актерски запинаться сестра. – Вы поверьте, представьте: я встретила... того человека...

«Что она говорит?» – опять подключилась мама.

– Кажется, я встретила... того самого юнкера. Бывшего юнкера...

– Какого юнкера?

– Которого, Абрам Абрамович, спасла ваша семья.

– Что ты говоришь? Это немыслимо!

«Что она говорит?» – допытывалась мама.

– Это мыслимо, Абрам Абрамович. Мыслимо!

– Как его фамилия?

Даша повернулась к Георгию Георгиевичу:

– Он спрашивает... как фамилия.

– Елчанинов.

Сестра повторила в трубку.

– И он может сейчас подойти?

Даша протянула трубку Георгию Георгиевичу.

– Слушаю вас.

– Не представляю себе! Все может быть, но не это... Вы скрывались в нашей квартире? На Привокзальной улице, девять?..

Всегда изысканно бледное лицо Георгия Георгиевича стало еще блее.

Телефонный разговор был негромким, но внутренне все раскалялся. В отличие от ужина, который почти остыл... Замаскированный подарок Дзидры утрачивал свою ценность. Но она, не улавливая до конца сюжетной коллизии, поняла наконец, что не вправе предъявлять и даже ощущать какой-либо претензии.

– Вы скрывались у моих родителей? – повторил Абрам Абрамович.

– Да, скрывался. Вернее, спасался... Именно там. А вы...

– Меня тогда еще не было.

– Вы родились... сиротой? – Помолчав, Елчанинов добавил: – Из-за меня?

– Но родился!

– Бог пожелал, чтобы я дожил до этого дня. И этого часа. Чтобы мог вымолить прощение у вас и у вашей матери...

– Она давно уже... вместе с отцом.

– А у вас найдутся силы простить... за себя и за них?

– Обвинять неповинного? Это я испытал на себе, еще не родившись. За что же прощать? Совсем другое невообразимо... Как могло случиться такое небывалое совпадение? Мы с вами разговариваем по телефону!

Окна на соседней даче по-прежнему не светились, а полыхали. Но безответно.

«Нет, не только астма удерживала Георгия Георгиевича от «законного брака». Что-то он ощущал, что-то предвидел», – неожиданно подумала Дзидра, понимая, что происходит нечто чрезвычайное и что обижаться за остывший ужин глупо, бессмысленно...

Абрам Абрамович был мудрецом... Но и мудрость может споткнуться о какое-либо событие, если оно имеет отношение к ней самой. Личная причастность сбивает с толку. И отбирает дар объективности... Еврейский Анекдот знал, что наяву случаются совпадения, которые и во сне не приснятся. Никакая фантазия ума не в состоянии превзойти фантазию реальности. Это он понимал, когда факты касались чужих историй... Но вообразить себе встречу – хотя бы по телефону! – с человеком, ради которого полвека назад отец не дожил до его, Абрама Абрамовича, рождения? Подобное даже все постигавший разум лучшего друга нашей семьи предвидеть, представить себе не мог.

Еврейский Анекдот подшучивал над стариковскими слабостями, преждевременно причисляя себя к носителям подобных причуд и недомоганий. Он и это делал *своим* способом, на языке анекдотов. «Приходит старый еврей к врачу и говорит: «Я женился на молодой. Могу ли надеяться иметь от нее детей?» – «Надеяться не можете, – отвечает врач. – Опасаться можете!» Был еще и такой анекдот... «К другому врачу приходит другой старый еврей и жалуется: «Мне уже семьдесят пять, и я из-за склероза не узнаю знакомых, забываю их имена!» – «А мне вот уже за восемьдесят, – в ответ сообщает врач. – Но у меня, представьте, ни малейшего склероза: всех узнаю и помню все имена!» Чтобы не сглазить, он стучит три раза по дереву: тук-тук-тук. И вопрошает: «Кто-о там?!»

Таковыми анекдотами Абрам Абрамович как бы предупреждал, что тоже может огоршить окружающих приметами старости. Хотя было ему всего пятьдесят.

– Я обязательно должен увидеться с вами, – произнес он под конец телефонного разговора. Произнес, а не просто сказал. И повторил: – Должен увидеться!

– Если буду жив, как говаривал Лев Николаевич, – ответил Елчанинов,

во всем предпочитавший определенность и точность. – Но я постараюсь дожить. Весьма постараюсь. Чтобы все-таки выпросить прощение за то, что сделал вас сиротой. Встретиться с тем, кто из-за меня не встретился с отцом своим? Это мой долг. Но прежде всего, чтобы вымолить прощение. Поверьте, что я так чувствую... думаю.

Сестра моя рано стала нуждаться в защите. Любовь и зависть, восторг и разочарование, не знающее пощады женское соперничество, подхлестнутые ни от кого не зависящими случайностями, с разных сторон навалились на Дашину неопытность. К счастью, защиты ей долго искать не пришлось, – она сама явилась в образе Иманта. Во внешнем его облике, как и в характере, главным была верность, не подвластная никаким обстоятельствам.

С виду надежность Иманта, как ни странно, более всего определяла спина – прямая, несгибаемая, словно крепость. Впрочем, крепость напоминал он весь. И Даша укрылась в этой крепости, как некогда Георгий Георгиевич в семье Абрамовичей.

Неожиданно и ситуация, в которой оказался Игорь, мой брат-психолог, стала напоминать Дашину ситуацию. Не повторять ее, а лишь напоминать...

Лекция Игоря, прочитанная на каком-то симпозиуме, до того восхитила американку русско-еврейского происхождения Соню, что она подошла и с ходу призналась в любви. То ли к нему, то ли к его таланту... Истрадавшийся от тщетных поисков признаний и справедливости Игорь увидел в Соне, как Даша в Иманте, спасение. И *спину*... И спину тоже!

Соня была вызывающе некрасива: одну половину лица занимали очки, а другую – лоб, в таком объеме для женщин необязательный. Игорю же показалось, что и лоб, и очки, и экспансивно воспаленные глаза оградят его, прикроют от злой неуютности жизни. Соня сама сделала Игорю предложение – и он его принял. Только она предложила любовь, а он принял *защиту*.

Вскоре, однако, он понял, что любить «спину» в прямом смысле важнее, чем в переносном. Прозрение это наступило за океаном...

Когда-то брат объяснял мою готовность расстаться с Лидой Пономаревой тем, что я ее не столько любил, сколько «желал». Но обнаружилось, что *не желая* любить невозможно... Впрочем, Игорь желал... Но не Сониных губ и не ее тела, а ее помощи и заботы. Ее спины, которая выглядела не столь мощной, как у Иманта, но тоже прямой и надежной.

Соня была психологом – и быстро разобралась в ситуации. Запрятав

женскую оскорбленность, она ни разу не назвала Игоря мужем и никому не представила его в этом качестве, хотя имела на то полное право. Но формально «полное» право может быть, по сути, фиктивным. А таковым Соня пользоваться не пожелала.

Она вела себя так, словно обманула моего брата и была виноватой, хотя логичнее было обвинить в обмане его. Но Соня обвинять не умела. Она настоятельно напомнила Игорю, что у нее две комнаты, а не одна, и добавила, что не позволит себе хоть в чем-либо его стеснять.

А потом учредила между Игорем и собой нейтральную полосу в виде коридорчика, который стал не соединять две комнаты, а разъединять их. Как и Иммануил, Соня была человеком долга, и потому, чтоб не дать никаких шансов для подозрений иммиграционным властям, она открыла общий – для себя и для Игоря – счет в банке. А к входной двери прикрепила медную дощечку: «Софья и Игорь Певзнеры».

Поначалу она собиралась – собиралась! – стать женой брата: даже взяла себе нашу фамилию. Но оказалась неспособной злобно швырнуть в него черепки разбитой надежды.

«Как я могла вообразить себя женой? Наивно и глупо... Как могла подумать, что нужна ему?» – задавала себе Соня беспощадные, унижающие вопросы.

Она была нужна Игорю и даже необходима. Но в той же степени, в какой необходимы были ему отец, Абрам Абрамович или я... Все поняв, Соня не прибегла к отщепенству, подобно Нелли Рудольфовне. И не бросила брата на произвол... Наоборот, она принялась с утроенной убежденностью прославлять талантливость Игоря, что вызывало у американцев подозрение, замаскированное улыбками, даже для них чрезмерно широкими.

Глубина исследований брата оказалась для американцев слишком глубокой. Путь к общечеловеческим выводам, пролежавший через историю России, был для них чуждой дорогой. Да и вообще фактам многострадальным они традиционно предпочитали факты оптимистические. Благополучие не столь располагает к психологическим терзаниям и проникновениям, как бедность и неустроенность. Соня, которая пользовалась у коллег прочным авторитетом, клялась, что в сравнении с Игорем она ничего абсолютно не стоит. Это несколько оскорбляло достоинство американцев: стало быть, Сониного научного дарования для *них* достаточно, а для русских – нет?

Дарование брата оказалось по ту сторону океана таким же не востребуемым, как и по эту. Причины были иными, менее

оскорбительными, но неостребованность столь же болезненной. И она вызвала взрыв, потому что представилась Игорю крушением последней надежды.

В знак бессмысленного протеста он устроился таксистом, поскольку и машину водил психологически точно. Над лобовым стеклом он водрузил транспарант с таким объявлением: «За рулем этой машины ученый-психолог. Гарантируется интересная беседа в пути!»

* * *

Миновали годы... А я все думаю о бедственности – иезуитски несправедливой бедственности! – судеб таких рыцарей, как Соня и Имант. Увы, самоотречение и самопожертвование реже награждаются ответной любовью, чем ветренность, неверность, а то и паскудство. Дай Бог, чтобы я ошибался.

* * *

Но не только за спинами Иманта и Сони пытались укрыться от несправедливости моя сестра и мой брат. Они искали спасение и на *других* землях: Даша на латвийской, а Игорь – заокеанской. Мы же вчетвером – мама, отец, Еврейский Анекдот и я – решили довериться земле своих исторических предков и отправились в Иерусалим.

Мне всегда представлялось, что имя Иерусалим принадлежит не «месту жительства», а земному чистилищу... Городу, где не обитают, «не проживают» в домах, а только молятся, исповедуются, обретают успокоение и душевную силу.

Мне казалось, что в Иерусалиме нельзя пребывать постоянно, как в любом другом городе, что в него можно лишь совершать паломничества, его можно лишь с трепетом *посещать*.

И вдруг мы получили почти в центре трехкомнатную квартиру... А нашему отцу-Герою даже были посвящены интервью. Заодно в поле зрения журналистов угодили и «члены семьи Героя». То, чему не суждено было состояться триумфальной весной сорок пятого года в Советском Союзе, состоялось почти через четверть века в городе, который просто городом назвать было трудно, потому что это был Иерусалим.

В человека там вливался совершенно особый воздух.

Проникая не только в легкие, но и заполняя все существо человеческое, воздух Иерусалима как бы надувал собой крылья души – и она воспаряла над суетой сует и мельтешением повседневности.

Старинные здания не придавали Иерусалиму оттенка музейности:

ничто не принадлежало здесь любопытству.

Но ко всему хотелось припасть...

И за рубежами России – случается, к сожалению, – успехи распределяют не человеческие заслуги, а прихотливая воля случая. Случай там в меньшей степени руководствуется злонамеренностью, но тоже иногда своенравен и нелогичен.

Мой брат всегда не только *считался* талантливее меня, но и был талантливей... А стал таксистом. Моя же популярность экстрасенса, «заклинателя болезней», умирителя нервов и психики, на Земле Обетованной намного опередила меня... Бывшие сограждане, вновь ставшие для меня таковыми, установили очередь на прием еще до моего появления. И где? В Иерусалиме!..

* * *

Вырываю страницы... Вырываю подробности... Они все равно не объяснят, как существовали друг без друга те, которые друг без друга существовать не могли.

Врачи уже научились подключать к аппаратам, к машинам сердца, легкие, почки. И те, подключенные, способны работать, действовать, но не жить. А чужие органы, пересаженные в незнакомую им «почву», нередко вообще отторгаются... Организм нашей семьи был единым и неразрывным. Оказалось, однако, что и единое можно разъединить и неразрывное – разорвать. Но лишь *как бы*, лишь *вроде бы*... Разделенные событиями, тысячами километров и миль, мы оставались вместе. Это самое мучительное на свете: вместе и врозь.

Мама, умевшая все, налаживала в Иерусалиме наш быт, отец и Абрам Абрамович искали работу, а я принимал и изумлял больных, возвращая здоровье. Но вернуть его нашей семье был не в силах, сердце ее, как бы подключенное к аппарату, формально работало, билось. А душа, которую «подключить» невозможно, жаждала возрождения бывшего дома. На другой, чем раньше, но на одной, на общей земле. Прежняя земля отторгла нас, как некую чужеродность. И разбросала... Мы обязаны были воссоединиться: только тогда бы сердце семьи ожило, а не продолжало напоминать о себе механическими толчками.

Игорь в Нью-Йорке гнал от подъезда к подъезду свое такси с шуточно-жутковатым плакатом над лобовым стеклом. Но в душе рулил к родному, общему дому, который разобзили режим и система. Они провозгласили людей той «главной ценностью», кою можно, как всякую вещественную ценность, продать, заложить в ломбард, разбросать или повесить... Нет,

не себе на грудь или шею, а в смысле буквальном. Украшениями и ценностями дорожат не во благо их самих, а во благо тех, кому они принадлежат, кто обладает ими и кто вправе поступить с ними, как пожелает. Режим и система объявили людей «главной ценностью», но своей. Как бы своей собственностью... А с собственностью хозяин ее волен поступать по личному усмотрению. Например, раскидать, разбросать...

В поисках одной крыши над головой томились весь год мы по эту сторону океана, а Игорь – по ту. Это страдание я не смею вырвать из своего романа, потому что оно было не второстепенностью, а словно бы лицом того разорванного на три части года.

Впрочем, Даша, казалось мне, найдя покой, иного пока не искала. У нее, я думал, все было, как надо: спина Иманта и крепость на побережье.

«Ну как? Все нормально?» – говорят, встречаясь, те, что равнодушны, безразличны друг к другу. Каюсь: я предполагал, что у сестры «все нормально». Но разве «все нормально» бывает? Хоть у кого-нибудь?

Я думал, предполагал... мне казалось...

* * *

Совпадения... Я случайно заметил, что слово это можно было бы расшифровать так: «советские падения». А сокращенно, стало быть: «совпадения». Чепуха какая-то... Но все же совпадений, которые определили падение великой страны, было чересчур много. Самыми же несчастными, думается, можно считать два из них: именно на этой земле расположен город Симбирск, в котором родился за тридцать лет до конца прошлого века мальчик Володя, и именно здесь взобрался на полукаменный-полузаросший пыльного цвета шерстью поселок Гори, в котором девятью годами позднее родился мальчик Сосо, ставший Иосифом. Два мальчика, повзрослев, определили на сотню лет судьбину державы, в которой рождалось и много других, очень хороших, мальчиков: Саша Пушкин, Лева Толстой, Антоша Чехов, Вася Суриков, Сережа Рахманинов... Но они, к несчастью, судьбину в судьбу превратить не смогли. Они не претендовали, они не замахивались... Почему не ученые, не художники и не поэты решают, как жить народам? Очень печально...

Самое катастрофическое совпадение подкралось к нашей семье неожиданно-негаданно. Оно как раз не было типично советским, а могло произойти в любой части земного шара.

Главный режиссер русского театра драмы в Риге с воодушевлением

сообщил на общем собрании труппы, что лермонтовский «Маскарад» согласился поставить знаменитый московский режиссер Иван Афанасьев, который давно уже «не повязан» Театральным училищем и художественной ответственностью за какой-либо свой театр.

– Он свободен! – воскликнул главный режиссер, любивший приглашать заезжих постановщиков, у которых не было в Риге ни семьи, ни квартиры, ни прописки, ни будущего.

Совпадение, заставившее Дашу замереть, слиться со стулом, впаяться в него, ничем, казалось, предварено не было. Но сколько же давних совпадений сцепилось, чтобы возникло это, самое роковое!

Если исследовать под психологическим увеличительным стеклом или тем более микроскопом почти любое событие, толкуемое историками как «вытекающее из всего хода», как логичное и неотвратимое, окажется, что атомами и молекулами его стали мириады случайностей, которых вполне могло и не быть.

Едва Даша успела подумать, что на время постановки «Маскарада» она «заболеет» и скроется в двухэтажном доме Алдонисов, как главный режиссер столь же воодушевленно оповестил:

– У Ивана Васильевича есть всего два условия, которые я от вашего имени уже удовлетворил. Он сам будет играть Арбенина, а в роли Нины хочет видеть свою ученицу Дарью Певзнер.

Мужская часть труппы, почти поголовно влюбленная в Дашу, заплодировала.

– Вот видите: я так и знал! Вы одобряете... Чтобы труппа не стала трупом, необходимы переливания, но не из пустого в порожнее, а свежей крови от талантливых режиссеров-доноров.

Главный режиссер любил принародно изобретать афоризмы, высказывать в оригинальной форме не вполне оригинальные мысли.

Иманта, актера латышского театра, вполне можно было принять и за актера театра русского: он не пропускал почти ни одной Дашиной репетиции, бывал и на «сборах труппы». Не ревность приводила его в этот зал, – время, которое он проводил без жены, не было для него временем жизни.

– Я откажусь от роли, – шепнула ему Даша.

– Из-за чего?!

Он мог бы спросить «из-за кого?», но деликатность не покидала его, как Дашу не покидало очарование.

– Я буду счастлив, если ты сыграешь Нину.

Он не мог быть от этого счастлив, но судьба жены – в том числе и актерская – была для него дороже собственной. Он был мужчиной и умел преодолевать боль – физическую и душевную.

– Ты хочешь, чтобы я согласилась?

– Можно ли от этого отказаться?!

Вернувшись домой, он, как всегда вечерней порой, ушел поплавать. Хоть море даже для него было прохладным. И плавал дольше обычного... Значительно дольше.

– Любовь не имеет обратного хода, – сказал как-то Игорь.

Он досконально разобрался во взаимоотношении разных полов, пока дело не дошло до него самого. А когда дошло, практика не подчинилась теории.

«Любовь не имеет обратного хода». Жаль, что брат не объяснил это в свое время Иманту: для его полного успокоения. А Даша и без Игоря знала... Предстоящее прибытие Афанасьева – в театре этого ждали не как приезда, а именно как прибытия! – привело сестру в уже позабытое ею смятение, от которого бы она охотно избавилась. Смятение было порождено не жадной любви, а жадной покоя. В крепость, где Даша так надежно укрылась, вторглась грозная опасность. Она покушалась на главное, что обрела сестра: на стабильность, которую Даша стала ценить выше трепета и мятежности. Быть может, покоя она начала желать слишком рано, но потому, что ее слишком рано настигли испытания, превратившие первую любовь в первую несусветную муку.

Она дорожила воспоминаниями о начале, об истоке той первой страсти... Но не более, чем дорожила. И страшилась, что история, которая последовала за ее девичьим праздником и превратила его в женскую катастрофу, будет иметь продолжение.

Афанасьев же «прибыл» именно с надеждой на продолжение. Или на то, что у Даши вслед за первой любовью возникнет вторая. И вновь к нему... Он, по-арбенински искушенный в страстях, должен был знать, что подобное не случается. Но желание стало неотступным, и опыт под напором желания отступил. Может, потому, что он был не его личным опытом: любил-то он в молодости только жену, а в зрелости – только Дашу. Искушенность явило ему искусство. А это совсем иное...

На первую встречу театрального коллектива с мэтром Даша явилась в самом будничном платье, не прибегнув в то утро к косметике, чтобы у Иманта не возникло и намека на подозрение. Она попросила мужа быть в зале с ней рядом.

– У меня, к сожалению, репетиция, – ответил он правдой. Но с такой интонацией, чтобы Даша поняла: он в *ней* уверен. Имант хотел, чтоб в этом убедился и Афанасьев. Раньше он умел «выстраивать» свои репетиции так, чтобы они не отрывали его от Дашиных. А тут изменил привычке.

Иван Васильевич же готовился к появлению в театре тщательней, чем к любой премьере. Даша это почувствовала: все, что было в то утро в нем и на нем, виделось ей чрезмерным. Только неугомонившаяся страсть могла подмять под себя его вкус... Былой дворцовый фасад Афанасьева выглядел в ее глазах отреставрированным так старательно, что нарушились пропорции, исказился замысел первоначального создателя-архитектора, а роскошество покусилось на чувство меры.

Он приехал ради нее, ради нее поднялся на сцену, ради нее пытался быть в каждой своей фразе либо глубокомысленным, либо сногшибательно оригинальным, либо феерически остроумным. Но все это представлялось Даше спектаклем, в котором не было той неотрепетированности и первозданной естественности, к которым Иван Васильевич призывал постоянно учеников... «Вы не должны домогаться успеха – и тогда он придет», – учил Афанасьев. А на этот раз сам *домогался*. Страсть его была необузданной. Стремление *понравиться* выглядело для Даши – может, лишь для нее одной – мальчишеским и неестественно диссонировало с его возрастом. Будучи десятиклассницей и студенткой, она этого диссонанса не замечала. Он, значит, возникал, зависел не только от его, но и от ее чувства. И *ее* опыта.

Эрудицией Афанасьев блистал так, что Даша внутренне зажмуривалась.

Он уверял, что проникновение в пьесу начинается с проникновения в автора. И принялся усиленно проникать в Лермонтова... Наверное, он забыл, что Даша все это от него уже слышала: она не восхищалась его познаниями, а раздражалась заученностью того, что он пытался представить экспромтом. Но, повторюсь, так это воспринимала во всем зрительном зале, быть может, она одна. И не в излишнем роскошестве его облика, не в повторении уже знакомого была главная причина тревожного раздражения, а в том, что Афанасьев вознамерился разрушить ее дом на побережье, возле залива... Он пошел в наступление на эту Дашину крепость, неприступностью которой она более всего дорожила.

Иван Васильевич, меж тем ничего не подозревая, все упрямо проникал в Михаила Юрьевича, чью драму мечтал воплотить на сцене не столько из любви к Лермонтову, сколько из любви к Даше и ради общения с ней.

– Философские постижения и провидческие открытия Лермонтова непостижимы, – потрясая на сцене Иван Васильевич. – «В небесах торжественно и чудно! Спит земля в сиянье голубом...» Он ведь не написал, что небо представляется нам голубым – это любой и так знает! – а утверждал: Земля голубого *цвета*. Считается, что первыми это увидели космонавты. Он же не увидел, а *провидел*. Лермонтовские стихи – психологическое и политическое постижение не только *его* времени, но и нашей с вами эпохи (и даже эпохи наших внуков!).

Афанасьев взглянул в партер так, чтобы стало ясно: не он один может иметь внуков, но и все сидящие в зале тоже. Дело, значит, не в «летах»: возраст он не имел в виду!

– Или вот, к примеру, – не унимался Иван Васильевич, – мы клеймим Сталина, как чудовище, а появится на киноэкране – и возникают фанатичные аплодисменты. Правда, во тьме, анонимно... Но аплодируют! Почему? Лермонтов отвечает: «Так храм оставленный – все храм, кумир поверженный – все Бог...»

Даше показалось, что он подслушал Абрама Абрамовича, который говорил то же самое. Нет, это она пересказала Афанасьеву наблюдения Еврейского Анекдота, а он их присвоил себе. Невольно, разумеется... Не нарочно. Но присвоил! Даше хотелось в чем-то Афанасьева обвинять, уличать. Она испытывала настойчивую потребность не поддаваться Ивану Васильевичу, противостоять его обаянию и уму. И не оттого, что она их боялась («Любовь не имеет обратного хода!»), но для того, чтобы он, глядя на нее со сцены, – а только она для него в зале и существовала! – понял: не воспринимает, не восхищается и никаких надежд уже нет. Ей хотелось

молча, хоть в мыслях своих унижить его или, по крайней мере, принизить.

Когда он упомянул об аплодисментах «во тьме», ей тут же вспомнилась другая – предательская! – овация в темноте и топанье под стульями... Еще до того, как мама поднялась на сцену. И впервые она обвинила в том кошмаре и Афанасьева. Это было нелогично... Но тут уж ничего не попишешь... Какой логики можно ждать от любви – безумствующей или прошедшей, – если та и другая слепы и глухи? Приходя к человеку или обрушиваясь на него, любовь оглашенно преувеличивает достоинства своего «объекта», обнаруживает их даже в полнейшем вакууме, а уходя, иссякая, она, уже остывшая, прошлая, не видит, принижает и те заслуги, которые существуют в реальности.

Даша как бы подтверждала размышления Игоря, который оказался в любви тончайшим теоретиком, но несостоятельным практиком.

– Однажды меня спросили, – продолжал Афанасьев, – какая поэтическая строка не расстается со мной. «Выхожу один я на дорогу...» – Тут он взглянул на Дашу с многозначительной пристальностью и повторил: – «Выхожу один я...» Вроде бы ничего такого в этой строке и нет. Но поверьте, что в ней есть все: и мироздание, и надежда, и одиночество... – Он снова взглянул на сестру. Однако она уже слышала это раньше, хоть и безотносительно к нему и себе. Он повторялся, повторялся... Но, оглушенный ее присутствием, не слышал себя, не контролировал. – «Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит...» Простота в искусстве гораздо сложнее сложности! Не та, которая хуже воровства. А подлинная, высокая! Да, Лермонтов сумел сделать нас своими современниками, а себя современником нашим: «Герой нашего времени» – это и нынешняя, и завтрашняя, и послезавтрашняя проза... С нее начался русский роман! А вот с детства и мне и вам знакомые строки:

Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы,
Не мог щадить он нашей славы,
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал.

Кроме «сей», ни одного архаичного слова. А ведь брошено в лицо «надменным потомкам» почти сто пятьдесят лет назад!

Даше вдруг стало обидно за Георгия Георгиевича: он тоже был потомком, но надменностью не страдал, а, напротив, страдал от излишней для второй половины двадцатого века деликатности. Она придиралась

к Афанасьеву, а из-за него, похоже, и к Лермонтову.

– Кто, скажите, кроме этого бесстрашного юноши гения, – издалека прокладывал путь к «Маскараду» Афанасьев, – кто, кроме него, посмел произнести: «Вы, жадною толпой стоящие у трона...» Это же о троне Николая Первого, не отличавшегося, как известно, либерализмом!

«В той толпе» возле трона были и не жалкие люди, а и такие, как Елчанинов... Можно ли назвать их толпой?» – про себя возразила Ивану Васильевичу, а стало быть, из-за него и Михаилу Юрьевичу Даша.

– Юноша трона не побоялся! – не услышав ее возражения, упивался Иван Васильевич. – А мы лепечем что-то об акселерации. Кто из двадцатилетних мог бы сегодня создать «Маскарад»? Да и вчера – кто бы сумел?! Ему же, бедному, ненавистники чуть ли не плагиат приписали: в «Отелло» – платок, а в «Маскараде» – браслет... Вот, дескать, и вся разница. Но помилуйте: главный конфликт «Отелло» – столкновение беззащитной доверчивости (даже полководца, даже мавра!) с иезуитским коварством. И коварству в трагедии удается осуществлять свои умыслы, ибо оно пользуется средствами, которые для доверчивости недоступны. И невозможны! «Маскарад» же – столкновение незапятнанной чистоты с изощренной многоопытностью, которая судит обо всех по себе самой и поверить незапятнанности просто не в состоянии. Что похожего в этих конфликтах? Да и в сюжетах ли дело? Сюжеты всех жизней на земле в чем-то – вы замечали? – схожи. Хотя бы в прелюдиях и финалах: рождение, смерть... И любовь!

Он попытался взглянуть прямо Даше в глаза. Но те уклонились, открыто и явно не пожелали встретиться с его взглядом.

– Да, поэзия Лермонтова надзвездна, космична! – Афанасьев не пожелал воспринять Дашин молчаливый демарш как свое окончательное поражение и продолжал наступать на нее с помощью лермонтовской гениальности. – Михаил Юрьевич не только первым узрел цвет нашей планеты в буквальном смысле, но и вложил в уста Демона такое космическое обещание:

Тебя я, вольный сын эфира,
Возьму в надзвездные края:
И будешь ты царицей мира,
Подруга первая моя...

Эти строки еще более непосредственно были обращены со сцены к сестре. И исключительно к ней!

Для нее же образ Афанасьева безвозвратно утратил свое демоническое

притяжение, о чем Иван Васильевич не догадывался или был не в состоянии догадаться. Ей не хотелось, чтоб он ее «взял». Да еще и в «надзвездные» края. Это было слишком далеко от мамы, от отца, от нас всех, от крепости на Рижском взморье... от Иманта. Не привлекал ее и трон «царицы мира». Она предпочитала нормальную жизнь на Земле. И еще резче уклонялась от призывного взгляда Ивана Васильевича.

Если бы я не распахнул тем еще заспанным утром дверь в ванную комнату, сестра бы проснувшегося утра уже не увидела. «Ты убиваешь маму!» – Воскликнул я голосом ужаса. И с тех пор между мною и Дашей возникло нечто такое, что требовало откровенности, взаимной и абсолютной, взаимных неотредактированных исповедей. Она присылала мне письма «персональные», до востребования. Не потому, что доверяла мне больше, чем маме, отцу или Абраму Абрамовичу, а потому, наверное, что жалела их сильнее, чем меня. Я был в два раза моложе их... И она позволяла себе не щадить меня умалчиванием и украшательством фактов.

Нет, причина не в отсутствии жалости! Наша тайна, наши особые отношения, родившиеся в то страшное утро, водили ее пером...

Слухи бывают разные: возвеличивающие человека или унижающие его. Возвеличивающим часто не верят, но в унижающих не сомневаются. Все похвальное стараются притушить, а порочащее раздуть. О слухах, возвышающих человека, сообщают, как правило, коротко, мимоходом, а о порочащих нашептывают с вожделением, обволакивая их подробностями и измышлениями.

В театр русской драмы известие о бывшем, московском, романа Даши с Афанасьевым сперва просочилось, потом, образовав русло, расширилось. И наконец превратилось в грязевой поток, вырвавшийся из берегов, не сдерживаемый никаким руслом. Он вливался в уши, которые всегда норовят стать локаторами и вместилищами сенсаций. Говорили, что жена Афанасьева не умерла от инфаркта, а наложила на себя руки, предварительно запечатав этими руками конверт с письмом, содержащим проклятия. Сообщали, что дочь Ивана Васильевича, которая действительно отказалась сопровождать отца в Ригу – хоть он на этом и настаивал, – в память о матери тоже прокляла Дашу. Сплетники, которые равнодушны к родным и близким, склонны жалеть тех, с кем даже и незнакомы, но кому выгодно посочувствовать, дабы сплетня выглядела колоритнее.

Соседка Алдонисов Эмилия давно и устойчиво состояла «при искусстве»: она заведовала центральной театральной кассой. Театральные билеты сделались для нее пропусками в пикантные

закулисные истории и хитросплетения актерских интриг.

Ей на руку было перенести события прошлого в настоящее, узреть мнимого Дашиного любовника под маской режиссера и одновременно Арбенина, мнимую же любовницу Ивана Васильевича – под маской Нины Арбениной. И она узрела. Такой «Маскарад» ее не просто устраивал – он был ей необходим.

Имант не посетил ни одной репетиции. Даша всякий раз приглашала мужа... Но оказывалось, что в его театре «аврал». Ему не хотелось, чтобы сплетники – да и сам Афанасьев тоже – считали, что Даша готовится к премьере «под конвоем».

Они встречались после репетиций, в назначенный час, возле привокзального табачного киоска, садились в электричку и мирно, обмениваясь впечатлениями дня, катили на побережье. Так как у табачного киоска в очередь преимущественно выстраивались мужчины, Имант приходил раньше. Он избавлял жену от однообразных мужских взоров и комментариев.

– Может, хоть завтра посетишь репетицию? – непременно спрашивала Даша.

Слово «посетишь» должно было намекнуть, что она недовольна.

– Зачем? Я приду на премьеру. Пусть она будет для меня сюрпризом.

Имант хотел подчеркнуть, что сюрпризов коварства он не предвидит.

Но Эмилия вознамерилась такие сюрпризы преподнести.

Мудрость утверждает, что однотипная трагедия повторяется лишь как фарс. Но и узаконенные временем мудрости временем же опровергаются. С самого начала было похоже, что несчастье, недавно изгнавшее Дашу со сцены училища, а затем из Москвы, может повториться. Очень уж схожи были причины, толкавшие на ненависть Дашиных недругов. Нелли Рудольфовна в поступках своих была по-немецки стойко определена, так как немецкая кровь в ней имелась, и ничем не напоминала взбалмошную Эмилию. Но обе они мстили Даше за отобранную любовь.

Красовская мстила безосновательно, ибо нельзя отнять у человека то, чем он не владеет. Эмилия же владела Георгием Георгиевичем, но не осознавала, что, освобождаясь с годами от незрелости любовного наваждения, он все чаще обжигался о странности ее нрава. Ей не приходило в голову, что случай с Дашей лишь завершил дорогу разрыва, на которую он вступил еще до того, как фамилия Певзнер прозвучала в доме Алдонисов.

Поскольку ненависть не нуждается в аргументах, Нелли Рудольфовна и Эмилия, в чьи женские судьбы моя сестра – как им обеим чудилось! – вторглась сознательно, злокозненно, действовали с помощью одинаковых мстительных средств.

Эмилия на репетициях забивалась в глубь бельэтажа и ловила оттуда каждое слово супругов Арбениных и каждый их взгляд.

Театр заполнялся ее шепотливыми рассказами о продолжении «связи»... Это слово Эмилия употребляла, считая, что возвышенного слова «роман» Даша и Иван Васильевич недостойны.

Абрам Абрамович утверждал, что женщины сводят личные счеты куда яростнее мужчин. Второй раз за очень короткий срок Даше выпало испытать на себе эту женскую беспощадность.

Стратегия Эмилии была не столь полководчески выверена, как стратегия Нелли Рудольфовны, но агрессивная устремленность была не меньшей. И наконец настал день, когда она решила посвятить «во все происходящее» Дзидру.

Дождавшись, когда Даша с Имантом уехали в Ригу, она впервые за много месяцев набрала номер телефона Алдонисов – и сквозь окно увидела, как соседка сняла трубку.

Эмилия, невзирая на непогоду, немедленно назначила свидание в дюнах. Переступить порог дома Алдонисов она не отважилась: вдруг бы столкнулась с Георгием Георгиевичем, который смело бросал перчатку, но слов на ветер не бросал и от решений своих – если они были решениями – не отступал.

То утро сопровождало себя дождем... Обезлюдил пляж, а шепот Эмилии пронизало таинственностью и резким ветром:

– Они признаются друг другу в любви на сцене, – промолвила она полатышски. Это придало ее словам особую правдивость и доверительность. – Признаются прямо на сцене!

– Кто?..

– Вроде Арбенин и Нина. А на самом деле Афанасьев и твоя невестка. Все это знают! Кроме тебя и бедного Иманта...

Губы Дзидры замкнулись так плотно, что и щелочку было не разглядеть.

На следующий день Эмилия забила в глубь бельэтажа вместе с Дзидрой. Вернее, Дзидра сидела в кресле прямо, не прячась, но со сцены ее не было видно. А она видела, как Афанасьев, уверяя, что «рожден с душой кипучею, как пламя», обжигал этим пламенем не Нину Арбенину, а Дашу Певзнер.

Имант предложил жене сохранить девичью фамилию, чтобы она не подумала, что «Певзнер» его не устраивает.

Даша сперва старалась интонациями и жестами не убеждать Арбенина в ответной любви, а лишь отстаивала свою невинность. Но Иван Васильевич и его помощник, латышский режиссер, обожавший – стойко, но без восторженной взбалмошности – русскую драматургию, выступили на защиту Лермонтова.

– Я допускаю свои прочтения пьес актерами, – заверил сестру помощник. – Допускаю. Но не когда мы обращаемся к классике... Поверьте, Дарья Борисовна!

– Нина не просто так... не безразлично невинна. Она чиста потому, что боготворит своего супруга! – объяснил Даше Иван Васильевич через того же латышского коллегу. Сам коллега не смог бы так складно и четко формулировать мысль по-русски.

Собственными устами Иван Васильевич не посмел бы требовать, чтобы Даша любила Арбенина на сцене столь же восторженно, как еще недавно любила его самого. В былых чувствах Даши и Нины Арбениной было нечто похожее: обе скорее преклонялись, чем обожали. Разрыв в опыте и возрасте гипнотизировал ту и другую.

Сестра вынуждена была подчиниться... Даша уже сыграла в театре несколько ролей, но не очень значительных. Она, вопреки Станиславскому, убедилась, что «маленькие роли» все-таки есть... Но не количеством реплик это определяется, а колоритностью образа. Никакие монологи его не заменят... Нину Арбенину сестра считала своей личной актерской премьерой. И не могла допустить, чтоб она провалилась... Быть бесстрашной в спектакле о любви, сила которой становится тропой к смерти? Это стало бы парадоксом и объяснялось бы не оригинальным прочтением, а бездарностью. Такой старт был для сестры невозможен: он уничтожил бы перспективу и сделал ее пребывание в Риге актерски бессмысленным. А это, помимо Дашиной воли, могло отразиться и на ее отношении к Иманту.

Когда Эмилия привела Дзидру в театр, Нина Арбенина на сцене уже преклонялась перед мужем так же, как некогда исполнительница ее роли преклонялась перед самим Афанасьевым.

– Вот видишь! – змеисто шипела Эмилия Дзидре в ухо. – Это же неприлично... Вся труппа знает об их прошлом. И воспринимает это как вызов. Использовать Лермонтова с *такой* целью? Это же великое произведение!..

Что-то искреннее промелькнуло только в последней фразе: расставшись

с Елчаниновым, Эмилия по инерции продолжала взбалмошна и крикливо превозносить русскую классику.

На побережье Дзидра, встретив сына с женой, вела себя сдержанно до пустынной сухости. Разложила на столе тарелки тоже фамильного, бабушкиного, но недорогого фарфора. Расставила по бокам в деревянных стаканчиках ножи, вилки и ложки, будто закованных в металл стражей. С таким же видом можно было поставить чернильный прибор... Ни единого слова, предваряющего ужин, не прозвучало. Но подобной Дзидра бывала часто.

Сперва Имант попросил украдкой, чтобы она одарила Дашу хотя бы полуулыбкой. Но, поняв, что это будет стоить Дзидре насилия над собой, пожалел мать. А она пожалела его – и о своем посещении бельэтажа не произнесла ни звука.

Вскоре начались ночные репетиции «Маскарада».

Премьера была объявлена, а стремление Ивана Васильевича создать спектакль-долгожитель требовало доводить каждую сцену до совершенства. Режиссерские возможности его были значительны, при каждой новой постановке они раскрывались постепенно, как бы разворачивались. Это требовало терпения и времени. Обычные репетиции затянулись. Администрация, в отличие от актеров, не ощущавших промедления, рожденного требовательностью искусства, никаких затяжек терпеть не намеревалась. И от искусства зависеть тоже... Тогда репетиции – для ускорения – завладели сценой не только днем, но и после вечерних спектаклей.

Афанасьева все это устраивало: если бы спектакль оказался «долгожителем», долгожителем в Риге, рядом с Дашей, стал бы и он. Репетиции же, которые именовались «ночными», продлевали его встречи с сестрой если не на месяцы, то, во всяком случае, на часы. А он дорожил каждой минутой...

Даша умолила Иманта не маяться до двенадцати ночи возле табачного киоска. Он согласился, потому что высоким был не только его рост, но и его чувство достоинства. Сидеть в пустом зале значило бы *следить*. Тем более, что после ночных репетиций актеров было положено развозить по домам на «рафике» латвийского производства. Даже эту малость Эмилия использовала в разговоре с Дзидрой для возбуждения национальных чувств:

– Спектакли ставят для русских, а «езды» на латышах.

Возвращаясь из города один, Имант один отправлялся и к морю. Когда

ночных репетиций еще не было, он нередко при любой погоде плавал с Дашей вдвоем. Он и ее научил сбрасывать в воду напряжение и тяготы дня.

Эмилия с мстительным упоением снабжала свою соседку последними сведениями, о которых, так сказать, «не могла молчать».

– По ночам они репетируют последние сцены «Маскарада». Я всего Лермонтова прочла... И поверь, что в этих последних сценах участвуют только двое: Арбенин и его жена. А на самом деле режиссер-ловелас и *чужая* жена. То есть твоя невестка! Придумали же: ночные репетиции... Можно назвать их спектаклями в пустом зале на двух действующих лиц. Или, точнее, свиданиями... Но уж никак не премьерами: премьеры у них состоялись в Москве! Ассистент режиссера, наш латыш, при сем, заметь, не присутствует. Зачем им свидетель? Весь театр *говорит*... Обсуждает!

Выяснилось, что сама Дзидра «Маскарад» не читала. Тогда Эмилия взбалмошно всплеснула руками и через пятнадцать минут притащила старинное издание «Маскарада» – объемное, с золотым тиснением, как тома старинной энциклопедии. Книгу ей подарил Елчанинов.

Оказалось, что в последних сценах действительно участвуют только двое.

– Значит, третий во время ее ночных возвращений – это шофер. И больше никого!

Эмилия умудрилась соединить финал «Маскарада» с транспортными подробностями:

– Только трое! Но это же «рафик», а не легковая машина. В нем можно и затеряться.

Эмилия взбалмошно вскидывала вверх руки, взбалмошно подбоченивалась или хваталась за голову. Телодвижения всегда активно выражали ее настроение. Она не прекращала рассчитывать с Дашей за отнятую любовь.

Однажды сестра пригласила на ночную репетицию Георгия Георгиевича: он не мог считаться подсматривающим, но мог бы рассказать, подтвердить, по Дашиной просьбе, что ночные репетиции ничем не отличаются от дневных, только большей усталостью.

После репетиции Елчанинов задумчиво, никого ни в чем не обвиняя, сказал моей сестре, взглядом указав на Ивана Васильевича:

– Играет Арбенина, а любит, как Ленский.

И сестра воздержалась от своей просьбы.

Обычно Даша возвращалась с ночных репетиций не позже двенадцати

ночи. Но *та* репетиция была последней в канун премьеры. И фары «рафика» до полуночи не прорезали тьму возле дома Алдонисов.

– Пойду окунусь, – сказал матери Имант.

При всей своей властности она редко что-нибудь запрещала сыну. И на этот раз выразила неудовольствие лишь вздохом, но промолчала.

Даже старожилы не могли припомнить столь запоздало-теплой погоды... Чудилось, море и пляж перенапряглись летом и пытались расслабиться. Но все же по календарю уже был октябрь. И, кроме Иманта, не купался почти никто.

Дзидра из окна посмотрела вслед сыну, а потом на часы, что много десятилетий прижимались к стене и как бы оживляли ее своим голосом. Часы, с равнодушной в любую пору суток одинаковостью интонации, двенадцать раз произнесли «бо-ом».

Дзидра сидела за пустым столом и все плотней затворяла губы. Она размышляла беззвучно, про себя: «Опять оккупанты, оккупанты... И опять из Москвы!» Она имела в виду, что Даша полностью завладела ее сыном, а теперь Афанасьев оккупировал жену Иманта. Совершалась, по мнению Дзидры, цепная реакция агрессии против ее земли, ее дома. У нее, а теперь и у сына отбирали последнее...

Неожиданно она вспомнила, как Имант как-то сказал:

– Мама, прости... Но мне неприятно, когда ты – хоть и в мое отсутствие – называешь оккупантами и людей, которые мне близки.

Дзидра тогда опустила не на ступени крыльца, не на табуретку, а прямо на землю.

– Близки?! Кто из них тебе близок?

– Долго перечислять.

При своей немногословности Имант сказал многое... Слова его совпали с воззрением Елчанинова. И, что было для Дзидры главным ударом, не помог ей подняться. Впервые несогласие отвлекло его, пусть не надолго, от сыновьего, но и от обыкновенного джентльменского долга. Он направился к морю, с которым в сложных ситуациях советовался.

Дзидра еще острее ощутила в тот день, что сын стал мужчиной. «Прав ли он был тогда?» – не раз растревляла она себя. И вот, как почудилось ей, явился ответ.

Протяженность времени удлиняется нервностью ожидания. Когда часы с той же равнодушной одинаковостью интонации произнесли «бо-ом» один раз, ей показалось, что Иманта нет уже целые сутки. Дашу она для себя не ждала, но напрочь замыкала губы, не оставляя намека на щелку, при мысли, что сын вернется раньше своей жены – и проявит такое

хладнокровие, что будто окаменеет. При его огромности это окаменение нельзя будет спрятать... Но тишь наконец-то прорвал гудок, а тьму прорезали желтоватыми лезвиями две фары.

Извинения, прозвучав уже из коридора, опередили появление сестры: послезавтра премьера, а завтра днем – генеральная репетиция. Вот почему...

Дзидра не желала Дашиного сценического успеха. Она понимала, что вообще всякий ее успех – это новые страдания сына, который и так уж более часа не возвращался.

Как назло сестра, торопясь домой, не освободилась от грима, без которого Афанасьев репетиций не допускал: на сцене как на сцене! Сестра была и слишком возбуждена своим опозданием. Отчего именно человек возбужден, на лбу у него не написано... Дашину взбудораженность Дзидра приписала интимности «ночной репетиции».

– Где Имант? – с тревогой, которая, конечно, показалась Дзидре фальшивой, спросила сестра.

– Не знаю. Пойдем на берег...

– Он купается?

– Его нет уже почти полтора часа.

– Теперь?.. Ночью?!

Дзидра взглянула на нее не с ненавистью, а как смотрят на того, кто приговорил тебя или самого близкого тебе человека к высшей мере: уже приговорил к тому, от чего спастись невозможно. А может, и привел приговор в исполнение. Протестовать бесполезно и просить не о чем...

Полотенце и рубашка были сложены на песке с аккуратностью, которая была неразлучна с Имантом, как и его деликатность.

Море не шевелилось... Будто для того, чтобы приближение Иманта к берегу сразу было услышано. Но никаких примет возвращения не обнаруживалось.

Не было их и в два часа ночи...

Дзидра скинула туфли и, проваливаясь босыми ногами в песок, побежала к домику матроса-спасателя, что был светлячком в ночи. Спасатель выглядел морским волком, но именно *морским*, потому что такие волки добры и отважны. Он знал Иманта со дня рождения – и не хотел увидеть день его смерти...

Когда спасенные и их близкие на коленях благодарили его и провозглашали, как это благородно «спасать», он неизменно отвечал: «Уж лучше, чем топить. Это точно!»

– Все будет нормально! – заверил спасатель Дзидру. Но она не стала успокаивать Дашу переводом с латышского.

Старик по-моряцки обстоятельно заторопился. Дарить надежду стало его профессией: он работал спасателем почти всю свою жизнь. Лодка его была необычно глубокой и необычно широкой, – в ней тоже ощущалась надежность.

Дзидра вновь и вновь по-латышски все объясняла ему. Такая внезапная разговорчивость свидетельствовала о состоянии истерическом, которое было несвойственно Дзидре уж вовсе. Она перестала быть собой...

Спасатель, как Имант, был надежен в каждом своем движении. Возвращать к берегу, к жизни, обманывать, обкрадывать смерть стало делом всех его долгих лет.

Театр, репетиции, премьеры – все потеряло для Даши свой смысл и хоть какое-нибудь значение.

– Где Имант?.. Что происходит?! – будто прося перевода с латышского на успокоительный родной язык, обращалась к Дзидре сестра.

Но Дзидра не отвечала ей. Она вслушивалась в море.

Только море имело теперь отношение к ее сыну, лишь от него все зависело. И еще от старика спасателя...

Дзидра подняла с песка полотенце, рубашку и прижала к себе так, словно хотела, чтобы они остановили ее сердце – пусть на время, пока не появится сын. Потом опустилась на колени и стала молиться. Опустилась и Даша. Дзидра молилась по-латышски, и сестра не могла ей вторить. Но так же неистово, как молилась Дзидра, сестра повторяла: «Пусть он скорее вернется... Пусть скорее!»

Как бы в ответ вода ожила. Заплескалась где-то вблизи от берега. Так им обоим почудилось. На самом деле всплеск возник далеко, хотя все приближаясь и приближаясь: просто слышимость в необъятной морской тиши была абсолютной.

– Это он... – прошептала Даша.

Дзидра ей не ответила: она, выросшая на море, безошибочно отличала всплески, рожденные веслами, от тех, что рождены руками пловцов.

Дзидра поднялась с песка, и Даша за ней...

Старик спасатель выволок свою непривычно широкую и глубокую лодку на песок. Он не бросился к женщинам сразу: ему нечего было им сообщить. И они вросли ногами в песок.

Наконец, он не спеша приблизился, что-то хрипло сказал Дзидре. Бывают моменты, когда начинаешь понимать незнакомый язык. Даша поняла: спасатель пообещал что-то еще придумать, еще постараться.

И, не теряя надежности каждого своего шага, направился к домику-светлячку.

Даша смотрела ему вслед, никакой иной надежды на свете не ощущая. И вдруг затвердевший, лишенный интонации голос Дзидры заставил ее оторваться взглядом от спины спасателя и его домика:

– Раздевайся...

– Зачем?

Дзидра не ответила и сама начала сбрасывать и стягивать с себя одежду – неловко и нервно, что было так на нее непохоже.

Тем же голосом, без интонаций, Дзидра не произнесла, а приказала:

– Иди в воду.

И сама пошла первой.

– Холодно, – механически, отрешенно произнесла сестра, как разговаривала тогда, в ванной комнате.

– Не холодней, чем ему, – ответила Дзидра. – Будем его искать.

Они доплыли до того места, которое, как знала Дзидра, с берега казалось линией горизонта. Поплыли вдоль этой линии...

– Има-ант! Има-ант!.. – не закричала, не стала звать, а завывала Дзидра.

Море затаилось, молчало. Еще полчаса они выли в два голоса. Море не откликалось.

И тогда Дзидра взяла Дашу за левую ногу.

– Что вы? Я же не смогу плыть. Вам трудно? Схватитесь за мои плечи, за шею...

Даша думала, что Дзидра, обессилев, цепляется за нее, чтобы не утонуть.

– Отпустите... Я вас прошу: отпустите...

Но Дзидра не отпустила.

Когда через три дня их тела обнаружили, Дзидра продолжала держать Дашу за левую ногу так цепко, как держат за горло, если хотят удушить.

Вся многолетняя ненависть собралась в одну руку, в один кулак.

Как мать могла не подумать о другой матери? Кто на это ответит?

Дзидра расплатилась с моей сестрой за все, в чем Даша не была виновата. За потерю семьи... И своего сына...

Когда у Дзидры отобрали самых родных, она схватилась за утешение, что хоть все и отняты, однако осталась надежда.

Вскоре надежда сбылась: Дзидра родила сына. Но в ту ночь, когда стало ясно, что Иманта уже нет, она поняла: вот теперь отнято все

окончательно, бесповоротно. Не осталось и проблеска утешения. Его уже быть не могло... Ушел, навсегда уплыл тот, ради кого она дышала и действовала, кем дорожила несравнимо больше, чем собой, и землей, и всеми, кто на этой земле жил и продолжал жить, продолжал... А его захоронило, накрыло собою море. Нет, это была не потеря – это был конец. Это был апофеоз горестного беспредела. И виновница завершения тоже должна была из жизни уйти.

Это, может, стало бы справедливой карой, если б события той ночи Дзидра увидела и осознала безошибочно. Если б и их причины – причины тех событий! – на самом деле были такими, какими Дзидра Алдонис их восприняла, перестав быть собой...

Но она оказалась жертвой неизмеримого заблуждения, продиктованного любовью и ненавистью. Любовь и ненависть – в их крайней форме – придали трагичное ускорение выводам, действиям и не позволили обождать. Обстоятельства, совпадения не раз определяли исход величайших сражений, судьбы выдающихся полководцев, империй и их властителей.

Но разве исходы битв, судьбы военачальников, даже самых легендарных, и империй с их властителями стоили Дашиной жизни?

Сюжет «Маскарада» трагически повторился: невинность была наказана и загублена.

Для Дзидры ничто на свете не стоило Иманта... А любой из нашей семьи – мама, отец, мы с Игорем и Абрам Абрамович, – не тратя времени, не размышляя, пожертвовали бы собой ради Даши. Никто, однако, не предложил нам такого выбора.

Но Имант был жив...

Ревность, не обошедшая стороной ни одного любящего человека, вцепилась и в него. Но это когтистое чувство он держал внутри, на привязи, не выпуская на волю и не позволяя обнаружить его разрушительного присутствия.

Игорь сказал мне как-то с обыкновенной своей иронией:

– Ревность – это комплекс собственника. И самый необоримый комплекс: заметь, кражу любых вещей, даже самых ценных, переживают куда легче, чем кражу любви. Ни в одном романе, ни в одной пьесе, ни в одной опере похитители вещей не караются с такой отчаянностью, как похитители любовного счастья. Или те, кто счастьем этому изменил... «Кармен», «Цыганы», «Отелло», «Маскарад»... За измену в любви приговаривают только к высшей мере. Как за измену Родине... Но с еще

большой убежденностью!

Постановка «Маскарада» в театре драмы позволяла переименовать его в театр трагедии. Не сценической, а произошедшей в действительности...

Душевные силы Иманта были под стать его физической силе. Но ревность и их истощила. Для окружающих она была незаметной, развивалась исподволь, как злокачественное заболевание. Но вот холод осеннего прибалтийского залива, который и летом-то не балует нежным теплом, и раскаливший душу внутренний жар, как разноименные заряды, притянулись, сковали организм Иманта судорогой. Сопротивление оказалось бессильным... Он начал тонуть.

Совпадения... Случайные обстоятельства... То губят они, то спасают. Но как часто оказываются сильнее предначертанности!

Уже подчиняясь бессилию, неизбежности, Имант увидел вдруг на море тускловатые огоньки. То был катер, по нечаянной воле или по воле Божьей лениво следовавший своим курсом.

Характер не позволил Иманту закричать «Помогите!» или «Спасите!» – он крикнул:

– Я здесь!..

Словно катер специально явился, чтобы разыскать его в сыром, равнодушном пространстве...

«Тяжелый!» – услышал Имант над своим ухом, будто речь шла о ящике. Его с усилием вытянули на палубу, и он занял на ней столько места, что тот же невозмутимо-простуженный голос проворчал:

– Вырос же!..

Иманту, которого судорога все еще не отпустила, было стыдно за свой вес, за свой рост.

– Мне бы на взморье... – проговорил он.

– Еще чего! Менять курс? – с безразличным упреком отказал ему тот же голос. – И так опаздываем.

Ему отказали на латышском языке. «А если бы отказали на русском? И об этом узнала бы мать? – промелькнула у Иманта странная мысль. – Или на еврейском? И об этом бы узнала Эмилия? Что за разница, на каком языке отказывают, загоняют в тупик или проявляют роковое безразличие?»

Катер спас его – и он не смел обижаться.

– Тогда позвоните ко мне домой... Скажите, что все в порядке. Я вас прошу... Я очень прошу.

Имант назвал номер.

– Передадим по радиосвязи, – пообещал тот же голос, огрубленный

простудой и выразивший неудовольствие: вытащили из воды, так еще и звони! – Не трепыхайся, передадим!

– Я вас прошу...

«Я вас прошу...» – произнесла в море Даша. Ее просьба осталась невыполненной. И просьба Иманта тоже...

Какое дело кому до чужого горя? Свой дом – своя крепость, а чужой – крепость чужая. В нее не обязательно врывать, как во вражескую, ее не обязательно покорять, но и оборонять тоже не обязательно. Так думают люди, не понимая, что в случае чего и их крепость никто защищать не станет.

По радиосвязи Дзидре и Даше ничего не сообщили.

Забыли, наверное... Иманта вытащили из воды – и хватит. А то, что утопили его мать и жену, никому в голову не явилось. Потому что ничья голова на том катере об Иманте, о семье его и не думала.

До чего же хлопоты о себе и свои заботы изолируют людей друг от друга... Рождается одиночество, которое ощущают в полной и страшной мере лишь способные ощущать. А равнодушные – «забыли», «не сочли нужным» – способны не только оскорбить или ранить, но, оказывается, и убить.

Утром Имант пришел в себя, так как ночью ушел от себя далеко: в беспмятство, в забытье.

Прежде всего он позвонил домой. Было еще рано, но и уже поздно.

Послышался незнакомый мужской голос. Наверное, не туда попал? В его доме незнакомых голосов быть не могло. Все же он сказал:

– Позовите Дзидру Алдонис, пожалуйста.

– А это кто?

– Ее сын.

– Сын?! Где ты там?

– В Риге. В порту...

– А что же не сообщил? Из-за тебя тут случились разные происшествия.

– Какие происшествия?

– Приедешь, тогда и узнаешь.

– Но все-таки... Я прошу вас.

– По телефону справок и сведений не даем.

Это ответили ему на латышском языке, который трудно было в те минуты назвать «родным».

Однако ту же трубку, на другом конце провода, перехватил Георгий Георгиевич.

– Не беспокойся, Имант. И скорей возвращайся... Когда приедешь, все уже прояснится!

Быть может, впервые Елчанинов пообещал то, в чем сам не был уверен.

Тела Даши и Дзидры еще не обнаружались. Известно было, что обе уплыли и не вернулись назад. Об этом поведал «спасатель».

Прошли годы – и вот я нахожу в себе силы, возможность писать «тела», «не обнаружены»... А тогда я впервые понял: есть на свете такое, чего представить себе нельзя. Паралич спасательных действий, которые были бесцельны, о чем сообщили тайно, заставил меня, терявшего разум, начавшего метаться на глазах у семьи, крикнуть себе самому, как тогда, в ванной комнате, я крикнул Даше: «Ты убиваешь маму!» Если руки опускаются и язык немеет, приходится проявлять себя мужественней, чем когда-либо: чтобы язык, руки и душа ожили. Не во имя спасения спасаемых, а во имя живых. Или живого. Или живой... Думаю, потерю меня или Игоря мама бы с ужасом, с невообразимым отчаянием, но пережить бы смогла. Не уверяю, не утверждаю... Но, может, сумела бы. А потерю Даши не пережила бы ни на единые сутки, ни на единый час.

...Дашу и Дзидру похоронили рядом.

– Рядом?! – вскричал я, услышав об этом от Елчанинова. – Убитую и убийцу?..

– Нет, две жертвы. Невинные по-разному... Но обе невинные!

– Зачем же рядом?

– Чтоб поскорее и тайно... Хотели без шума и слухов. Боялись, как бы до Дашиной мамы это все не дошло.

– Поставлю Даше памятник в Иерусалиме, – твердо произнес я. – Это будет не могила, а памятник... Втайне от мамы. И никогда ее на то кладбище не пущу. А позже на памятнике появятся и наши имена. Он снова воссоединит всю семью...

Мужская часть этой семьи, как бы укрепившаяся Георгием Георгиевичем, обязана была «не показывать вида», «не дать повода»... Чтобы спасти маму. И мы проявили себя мужчинами. Но, оставаясь наедине с собой, я не плакал, а выл, как Дзидра и Даша в открытом море. Не хватался за голову, а рвал на себе все, что попадалось мне под руки. «Даши больше не будет... Никогда...» Сейчас хоть и с мукой, но можно это вообразить, а тогда...

Даша вела дневник... каждый день она как бы обращалась к маме с письмом. И, ничего не утаивая, рассказывала о своей новой жизни.

«Ничего не утаивать – значит не щадить. Ведь в ее новой жизни было

больше сложностей, чем праздников» – так можно подумать. Нет, Даша щадила... Потому что письма были исповедями, с которыми сестра так и осталась наедине. И в Иерусалим она их не посылала. Туда отправлялись другие письма, по-прежнему немногословные, в которых были преданность нам всем и оптимистические прогнозы.

Дневник был обращен к маме, потому что к Богу сестра обратиться не решалась, а после Господа более всех доверяла маме. Видя ее перед собой, она не могла изменять откровенности.

Недоверие к словообилию не покидало сестру и в ее дневнике. Ни слезы, ни смех не проступали в нем, а проступали факты, раздумья.

«Представители власти» бесцеремонно копались в жизни Дзидры и Даши, искали документы, словно улики, и вообще вели себя так, как если бы две женщины не утонули, а отравили кого-нибудь. Георгий Георгиевич перекрыл дорогу дальнейшему расследованию.

– Все это, милейшие, принадлежит семье. Во что она найдет нужным, в то и посвятит вас.

«Милейшие», кои не являлись таковыми, ничуть не были озабочены тем бескрайним и, думаю, не имевшим аналогов горем, которое вторглось в дом Алдонисов.

– Дайте расписку, что к вещам погибших не допускаете, – потребовал один из двух «представителей власти».

Георгий Георгиевич расписался.

Власти бы не уступили ему, если бы «срок всплытия», по их мнению, уже не истек и факт гибели не был бы, таким образом, установлен. Но тела всплыли на день позже... Как пишет это моя рука? Как выводит она такие слова и буквы? Годы миновали, прошли... Время ничего не изменило, но роль анестезии все же исполнило – и боль слегка притупилась.

– А вы им кто будете? – спросил «представитель власти» у Елчанинова.

– Родной я им человек.

– Родственник?

– Родной человек.

Солгать Елчанинов не мог.

На глаза ему попался Дашин дневник... Читать чужие письма и дневники было для Георгия Георгиевича равносильно подглядыванию или подслушиванию, за что полагалось вызывать к барьеру...

Но тут он подумал, что надо прочитать последнюю Дашину запись, в которой могло найтись объяснение происшедшего. А это, может, способно было оградить от сплетен и надругательств память погибших.

Елчанинов, испытывая неудобство, все же прочитал последнее,

что написала сестра моя в своей жизни – так незаслуженно оборванной
и оскорбленной:

«Дорогая мамочка! Репетиции «Маскарада» подходят к концу. На ночных репетициях мы вдвоем с Афанасьевым выясняем отношения. Он пытается выяснить, что произошло между ним и мною, а я – между Арбениным и его ни в чем не повинной женой. Арбенин в ее чистоту поверить не в состоянии, потому что сам всю жизнь был соблазнителем и игроком. Поверь, я не испытываю к Ивану Васильевичу ничего, кроме чувства упрека за то, что он не оставил меня в том покое, который я здесь нашла. Зачем он явился? Кто-то, я случайно услышала, сравнил нашу встречу с запоздалой петербургской встречей Онегина и Татьяны. Ничего общего! Она же продолжала любить его. А у меня остались бы воспоминания – хоть они! – если б он не приехал. Теперь же я буду вспоминать сплетни, которые неотступно сопровождают нас обоих. Только они нас объединяют... Неужели он хотел этого?»

Имант безупречен... «Лучше быть любимой, чем любящей», – уверял меня Игорь. Не лучше, а выгодней! Но выгоды я искать не желаю. Быть может, Имант любит сильнее, а я сильнее благодарна. Игорь уверял, что не следует путать любовь с благодарностью, но она – благодарность – способна превратиться в любовь. Уже превращается. Я чувствую это... Имант необходим мне. Не-об-хо-дим! Разве это не главное свойство любви? В душе между мною и матерью он выбрал меня. Я стремилась, чтобы он нас в душе «совместил». Ведь это же чувства неодинаковые – и они не противоречат друг другу. Мне уже почти удалось достичь своей цели. «Еще немного, еще чуть-чуть...»

Ах, если б нам не мешали, не встречали бы чужие в нашу жизнь на берегу моря! Иногда я прошу у моря защиты: пусть оно смоем злобу, суету. Тем более, что они поселились совсем рядом с нами, в соседнем доме. Там под именем Эмилии проживает Нелли Рудольфовна. И все то же самое: беспричинная месть, гонения неизвестно за что. Кажется, мой несчастный «пятый пункт» опять стал главным пунктом обвинения... Методы соседка не выбирает, как Сталин, как Гитлер, как Нелли Рудольфовна: распространяет ложь, которую люди, увы, столь склонны принимать за истину. Эмилия – она же Нелли Рудольфовна! – прячется во время ночных репетиций на бельэтаже. Но я-то вижу ее. Сперва ощущаю ее злокозненное присутствие, а после уж вижу. Следит, следит... А спустившись, распространяет противоположное тому, что узрела. «Чтобы в ложь поверили, она должна быть чудовищной!» – это излюбленное утверждение Гитлера напоминал нам Абрам Абрамович. Так вот, для Эмилии это не цитата, а «руководство

к действию». Еще один Яго в юбке встретился мне на пути.

Что делать? Не знаю. Обращаясь к тебе, мамочка, я надеюсь отыскать спасательный круг. Пишу тебе – и вроде бы слышу твой защищающий меня голос, как тогда, на сцене училища...

Всегда с тобой!

Даша».

«Всегда с тобой...» Она уже не была ни с кем из нас, через годы я смог написать это. Но через годы...

С неотправленными «дневниковыми письмами» сестра обращалась к маме почти ежедневно. А то и два или три раза в день. То, в чем она исповедовалась, имело отношение ко всей ее жизни на взморье. Поэтому даты указаны не были.

И тут Георгия Георгиевича посетила мысль, воплощение которой только и могло спасти нашу маму. Елчанинов подумал, что, если вырывать из дневника страницы и день за днем или неделя за неделей посылать их в Иерусалим, мама будет знать, что Даша жива. Его, елчаниновский, характер требовал ответить спасением на спасение.

В дневнике, к счастью, было много страниц: сестра завела его в самом начале прибалтийского – и последнего! – периода своей жизни. На первой странице я прочел: «Когда-нибудь я непременно пошлю тебе, мама, то, что сейчас пишу...»

Значит, мама будет уверена, что Даша уже начала «посылать». Георгий Георгиевич придумал это, впервые за все свои лета поверив, что ложь во спасение – тех, кто достоин спасения! – это не ложь. И не грех...

То, что сестра доверила лишь себе и бумаге, взбудоражит маму?.. Что поделаешь! Но не убьет ее.

Я опять забежал вперед. Возвращусь к первому утру... после *той* ночи.

Не дожидаясь Иманта, Елчанинов отправился на соседнюю дачу. Увидев его, Эмилия со своей обычной взбалмошностью засуетилась, попросила обождать ее на кухне, а сама скрылась в спальне. Там она суетливо, но тщательно нарядилась и вышла к Георгию Георгиевичу, как на свидание. То, что произошло ночью, Эмилии было еще неизвестно.

– Без цветов? – Ее вздорность всплеснула руками, что означало разочарование.

Но тут Эмилия заметила сквозь окно какую-то тревожную суету возле дома Алдонисов. Вгляделась, подбежала к другому окну со своей всегдашней шумливостью.

– Что там такое? А? Я боюсь...

– Как вы можете бояться того, что сами же сотворили?

– Я? Сотворила?!

– Хотите, чтобы я вам напомнил? Извольте... Оклеветали красивую – душевно и внешне – молодую женщину с неприятной для вас фамилией Певзнер. Вселили в дом Алдонисов сатану недоверия и подозрений... Погубили Дзидру и Дашу, а стало быть, полагаю, и Иманта... Уж не говоря о Дашиных близких! Этого мало? Такие злодеяния и Демону не под силу.

– Я? Погубила?!

Эмилия, не к месту разнаряженная, заметалась по кухне, где места для метаний было недостаточно – и она то и дело наталкивалась на стол, на плиту, на табуретку.

– Я хотела только помочь!

– Чем? Ложью? Дьявольской клеветой? – перебил ее Елчанинов. – Если б вы не были дамой, я вызвал бы вас на дуэль. И убил бы! Можете не сомневаться: убил. Не промахнулся бы!..

Афанасьев ничего подобного Нелли Рудольфовне не говорил. Может, потому, что не принадлежал к дворянскому роду?

С утра до ночи Имант сидел у моря, которое с детства считал своим главным другом. Известно, однако, что худший враг – это бывший друг... Сия печальная истина была ему пока неизвестна. Но ведь он не конфликтовал с морем, не нарушал его законов, не ссорился с ним. За что же оно свело его судорогой? И из-за этого он лишился, навсегда лишился людей, без которых бытие его разрушилось, кончилось.

– Точнее, оно невозможно без Даши, – сказал Игорь, прилетевший из-за океана к нам в Израиль. – Факт ухода родителей прежде ухода детей принят и самими детьми как естественность. Где, в какой семье или в каком романе мужчина накладывает на себя руки из-за смерти матери? Нет, мне кажется, подобных семей и подобных романов. А из-за смерти любимой женщины? Даже из-за ее измены? Такие сюжеты в искусстве до оскомины традиционны, поскольку традиционны в реальности. И вроде бы это несправедливо: мать у каждого человека одна, а любимых может быть сколько угодно. Несправедливо... Имант был образцовым сыном! Но жить он все-таки не сможет *без Даши*. А мы-то как сможем?..

Георгий Георгиевич почти все время был рядом с Имантом... Эмилия же, чтобы более ни с кем из соседнего дома не встретиться, удрала

к подруге в город. Она не думала, что слухи, интриги, сплетни способны убить... То есть в политической сфере она это предполагала и даже сама наблюдала, а в лирической – нет. Если бы ей заранее сказали, чем все закончится, она бы со взбалмошной суетливостью бросилась исправлять ситуацию. Но сколько ситуаций мы бы исправили, если б могли заглянуть вперед?.. Нет, она все же не была копией Нелли Рудольфовны: вздорность толкала Эмилию на действия необдуманные и примитивные. Красовской же внешняя принадлежность к «прослойке», даже к элитарной «прослойке», подсказывала шаги более изощренные. А результаты? Они – дети случайностей и совпадений. На совести Красовской была жена Афанасьева, а на совести вздорной Эмилии – Дзидра и Даша... Нет опаснее тех интриг, что вторгаются в любовные страсти.

Елчанинов пытался припомнить истории, подобные той, что случилась, которые бы оставили по себе вечную и траурную память, но не привели бы к новым смертельным исходам. «Имант должен сделать вывод, – думал Георгий Георгиевич, – что и для него не все кончено!..»

А тот, взглядываясь в даль, произносил одни и те же слова:

– Они возвращаются...

* * *

Часами, окаменев, отупев от неверия в свершившийся факт, я сижу на берегу Средиземного моря. Так Имант – на берегу равнодушно-хладного Финского залива... «Она возвращается!» – хочется крикнуть и мне. Но это было бы более, чем сумасшествие. Перепутать сестру я издали с кем-нибудь бы и мог... Но перепутать моря? Если бы Имант уплыл за тот горизонт, который передо мною, его бы не парализовала судорога. Тогда бы и Даша и Дзидра... Если бы вообще можно было заранее отрепетировать события, а уж потом, все учитывая и исправляя, участвовать в спектакле, длящемся годы, десятилетия...

Но отрепетированных судеб я не встречал. А жизненные импровизации и необдуманности дорого – о, как дорого! – порой нам обходятся. Плещется теплом Средиземное море... А я замерзаю...

Есть такой анекдот... Смешной и трагичный. Он именуется жизнью. Ее можно назвать и «романом с вырванными страницами». Я вырываю страницы, вырываю страницы... Чтобы второстепенность не заглушила смеха и не спрятала слез.

Но стены смеха на свете нет. А Стена плача пролегла от Иерусалима по всей земле.

Москва – Внуково, 1992–1993
Иерусалим – Тель-Авив, 1993

Книга третья

Самая последняя и короткая

Все мы в этой жизни хоть немного, хоть в чем-то да виноваты... Я – в своей детской любви к той, что была любви недостойна и обрекла меня на недоверие к женщинам и холостяцкое прозябание. Игорь – в столь частых переходах через границу иронии к цинизму. Отец – в затянувшейся, как младенческая корь, ортодоксальности. Даша – в невольном совращении женатого человека. Еврейский Анекдот – в тайном обожании жены своего лучшего друга. Дзидра – в разламывавшей ее, словно землетрясение стены дома, жажде мщения. Так размышляю я сейчас... Лишь за мамой и Имантом, думаю, не числилось грешных поступков. Испытав в ранней юности тошнотворность примитивного общения, тщившегося выдать себя за любовь, Имант был способен на чувства богатырские, как его фигура и неколебимый характер. Таким чувствам он и воздвиг пьедестал для памятника Даше «при жизни», который стал памятником «при смерти». За что же выпали Иманту испытания, перенести которые не сумела даже его – тоже мощная – психика? За что?! И кто был виноват в беспробудных его несчастьях? Задаю себе этот вопрос и сам отвечаю: те, что украли у матери его, Дзидры, все. Взамен же осатанили душу ненавистью и жаждой мести. Ненависть заставила перепутать русское со сталинским, утопила разум. А потом утопила саму ее и мою сестру...

«Они возвращаются!..» Мы все, казалось, слышали голос Иманта. И вопль безнадежной надежды. Смогу ли я вернуть рассудок ни в чем не повинному? Может быть, и смогу. Но Дашу ему не вернет никто. Как и маме... А ей-то за что выпала непостижимая кара?

Георгий Георгиевич позвонил Абраму Абрамовичу в Иерусалим и рассказал о том, что происходит с Имантом. А о том, что сотворилось в доме Алдонисов, всем, кроме мамы, было известно.

– Пора бы уж нам с вами встретиться, – сказал Еврейский Анекдот. – А то ведь уход Даши может сократить и мою жизнь. Это не исключено.

– Я к вашим услугам, – ответил Георгий Георгиевич. Так дворяне отвечали, когда им «бросали перчатку» или призывали к иным действиям, не терпящим отмены и промедления. – Но это ведь очень сложно.

К тому же я не смею покинуть Иманта.

– А где он сейчас? – прошептал Анекдот в трубку.

– Он у моря.

Абрам Абрамович продолжал еле слышно:

– Благородно, что вы присылаете Дашины письма. Это спасение для ее матери. Но ведь когда-нибудь они кончатся. Кроме того... Эсфирь хочет поговорить с дочерью по телефону.

– Это уже не удастся.

– Юнкер Елчанинов, вы по-прежнему способны произносить только правду?

– Бывший юнкер.

– Еще одно уточнение? Но для меня вы всегда останетесь юнкером. Я вас очень жалел. И любил...

– За что?! Из-за меня погиб ваш отец. И вы его ни разу не видели. Но очень похожи на него... Даша показала мне фотографию. Глаза... Такие же всепонимающие и скорбные.

– Это еврейский стандарт, – сказал Анекдот. – А не уважать и не любить вас я не мог... И не смел! Получилось бы, что отец отдал жизнь за недостойного человека. Такое случиться не имело права! И мама всегда говорила, что его гибель была поступком, угодным Богу. Смерть отца не смела быть беспричинной.

– Но я ни разу к вам не пришел. Мы бежали в Латвию. А потом, когда ее присоединили...

– Ее захватили, – уточнил на сей раз Абрам Абрамович, тоже не выносивший лжи.

– Когда захватили, вас в Киеве не было. Я пытался связаться, но безуспешно.

– Даша много пишет о вас. И восторженно! – Сестра в дневнике своем Елчанинова воспевала. – Извините, что позволю себе вторгнуться... Всегда вмешиваюсь в чужие дела.

– Чтобы сдвинуть их с мертвой точки? И оживить? Даша рассказывала...

– Да, вторгаюсь... – продолжал извиняться Абрам Абрамович. – Вы, кажется, даже отвергли близкую вам женщину... из-за того, что она не приняла Дашину национальность?

– Не приняла и... – Елчанинов осекся.

– Вы что-то хотели сказать?

Георгий Георгиевич не стал сообщать, что Эмилия Дашу убила.

Все мы знали, что Даши на свете нет и никогда... никогда уже больше

не будет. Все, кроме мамы. Она могла бы почувствовать, что свершилось самое чудовищное на свете. Но это было для нее нереальностью, которую ощутить невозможно.

Отцовская шевелюра стала морозно-белой, а лицо... Иногда старость не подкрадывается медленными шагами, а по-тигриному набрасывается сразу, внезапно. Окружающие, не уловив перехода, на время перестают видеть в знакомом знакомого. Изборозжденные горем щеки отца, горем же убеленные волосы в сочетании с палкой и хромотой превратили красавца с рязанской внешностью в полусогбенного еврея, поскольку возраст и беды обнажают национальность.

– Ты ведь знаешь, я как раз за освобождение Латвии получил Золотую Звезду, – с тихим потрясением сказал отец Абраму Абрамовичу. – Может, не надо было освобождать? Тогда бы Даша не...

– О чем ты? Разве можно упрекать кого-либо и себя самого... за подвиг?

Больше отец к этому, мне кажется, не возвращался.

В иерусалимской квартире, где все было пропитано особым воздухом священного города, поселилась вдруг и хроническая неправда. Мама не должна была узнать о Дашиной судьбе ни завтра, ни через десять лет, потому что день столкновения с истиной превратился бы для нее в день кончины. Все боялись «обнаружить» или проговориться. Сочинялись легенды о ежедневных показах «Маскарада» в далекой Риге, и о том, что тяжкая болезнь приковала мать Иманта к больничной постели, и о том, что по ночам и во все свободное от «Маскарада» время к той постели и Даша прикована. Такой маскарад был для нас испытанием невыносимым.

– Почему же она не звонит? – изумлялась мама, которая, поначалу ничего не подозревая, осталась почти той же, что и была. Разлука с дочерью – временная, как верила мама, – окрасила ее лицо не грустью, а напряженностью ожидания. Окрасила, а может, и украсила, потому что все душевные перипетии были на пользу маминой внешности. А в остальном она была той же...

Той же среди старика мужа, сразу одряхлевшего Анекдота, который анекдоты рассказывать перестал, и нас с Игорем, метавшихся между вынужденными фантазиями и выдумками.

Когда мама начинала все-таки подозревать, что со всеми нами нечто случилось, – не с Дашей, а с нами! – мы объясняли это трудностями дальних перемещений, ностальгией и растерянностью, которая непременно сопровождает переезды и перемены. «Не дай Бог жить в эпоху перемен!» – успокаивал я маму восточной мудростью.

Иногда отсутствие Дашиных звонков мы аргументировали даже тем, что на взморье, в доме Алдонисов, бастует телефон: «саботаж латвийских связистов и их антисемитское нежелание «по проводам» связываться с Израилем».

Ложь, легенды и умолчания не исчезали из дома ни на минуту. Для того чтобы мама задавала себе и нам поменьше вопросов, Абрам Абрамович хоть ненадолго нас всех «отвлекал»... То и дело он приводил нас к Стене плача. И мы припадали к той Стене лбами. Мама отдельно, а мужчины отдельно: так полагается. Но вслух не плакал никто. И только один закричал... Это был отец. И зарыдал. И стал биться о Стену, точно пытаясь ее проломить. Герой... когда-то не боявшийся ничего: ни вражьих засад, ни давки, устроенной сгинувшим палачом, ни чумы и холеры.

– Господи, верни нам ее!

Маму этот крик оторвал от Стены и швырнул к отцу. Будто все ее существо, сжавшись, предугадывало тот миг. Она прибилась к перегородке, как бы рассекавшей Стену на женскую и мужскую.

– Кого вернуть? Откуда? *Кого?!* Говори... Не смей больше молчать! Говори...

Когда-то, поднявшись защитить дочь на сцену Театрального училища, мама произносила каждое слово почти шепотом и очень внятно, стремясь вонзить его в совесть мгновенно затаившегося, онемевшего зала. Там, в зале, она видела Дашу... Сраженную, горестно поникшую, но живую. А тут дочери не было.

Абрам Абрамович, тоже ничего не страшившийся, вдруг побелел и судорожно потащил нас всех, мужчин, за собой – к тому месту, где перегородка кончалась. Туда выбежала и мама. Но выбежала не ко всем нам, от которых не ждала истины, а только к отцу:

– Где она? Ответь, наконец, *где?!*

– С ней, поверьте, все нормально, – как-то сумел проговорить Абрам Абрамович.

– Вы хотите сказать... что она в раю? – вымолвила мама. И сама испугалась. И опустилась на колени. – Простите... Что я говорю?!

Когда я много лет назад ворвался в ванную комнату, где сестра пыталась вскрыть себе вену, мой гипнотизирующий голос: «Ты убиваешь маму!...» – не только остановил роковое движение ее руки, но и заставил бритву с глухим недовольством удариться об пол. А кровь в Дашиной вене – заледенеть от ужаса. Пусть лишь на минуты... Но и это тогда помогло, а не только мохнатое полотенце, которым я туго перетянул запястье Дашиной руки.

«Ты убиваешь маму!..» Это каждый обязан произносить, адресуя себе самому, постоянно. Долг, который мы выполняем редко, велит провидеть: что сократит жизнь матери, а что и вовсе разрушит ее. Сроки бытия нашего предрешены. И все же... «Береженого Бог бережет». Мы обязаны беречь себя ради матери. И не покидать землю прежде нее. Ибо нет на свете большей жестокости... Осуществить тот долг, случается, нелегко, а то и невысказано, ибо причины и следствия порой находятся в непостижимой дали друг от друга. Даша, помимо воли своей, уничтожила не только себя, но и маму... В ту свою последнюю ночь, когда слишком поздно вернулась с репетиции «Маскарада». Она повторила судьбу Нины Арбениной, словно бы продолжив генеральную репетицию в жизни.

Но еще более страшная судьба была уготована маме. Даша поступила опрометчиво, хотя это от нее почти не зависело. Никто там, на сцене, не шепнул ей: «Прекрати репетировать: ты убиваешь маму!» Увы, причины и следствия вообще не различают, не видят друг друга.

– Поклянитесь, что Даша... Поклянитесь! Я вас умоляю...

Ситуация нарушила все законы и традиции Стены плача, привыкшей к молитвам или молчаливым страданиям. Камни вобрали в себя столько человеческих бед, надежд и к небесам вознесенных молений, что стали напоминать прижавшиеся друг к другу могучие лбы, которые погрузились в бездонную, неразрешимую думу о дорогах людских. Но даже они, ко всему привыкшие, казалось, стали в те минуты еще выпуклей от внимания, а может, сочувствия.

– Поклянитесь...

– Клясться нехорошо, – чуть слышно ответил Абрам Абрамович. – Не положено клясться...

– Один раз в жизни... Ради меня... поступите нехорошо! Я прошу... Я очень прошу!

«Я прошу!» Сколько раз за последнее время произносили мы эти слова вслух, а еще чаще мысленно. И всегда «прошу» звучало, как «умоляю», как «заклинаю».

– Поклянитесь!

– Клянусь, – проговорил за нас всех Абрам Абрамович.

– Чем?

– Своей собственной честью.

– Нет... докажите мне... – Мама теряла не только власть над собой, но и сознание.

И все же ей нужно было немедленно, не ожидая доказательств, за что-то уцепиться. И она поверила клятве. Даже извинилась:

– Простите.

Иерусалим, не вознесшийся гордо, не воспаривший, а с чувством достоинства поднявшийся над долинами и холмами минувших кровопролитий, чьих-то временных побед и временных поражений, что поначалу кажутся вечными; Иерусалим, величественно простершийся над историческими пропастями и взгорьями, он, Иерусалим, не утратил доброй способности вглядываться и в каждое лицо человеческое. Однако он, чудилось мне, нарочно прикрылся ранними сумерками, чтобы не заглядывать в мамыны глаза, успокоенные доверием к чести и клятве Абрама Абрамовича. Пусть верит...

– И как же вы все-таки ей докажете? Ведь в конце концов она потребует этого, – сказал я, поотстав от остальных членов семьи, понуро изучавших отшлифованные веками и тысячелетиями твердыни под своими ногами. В Иерусалиме непрерывно – то глазами, то плечами, то ногами – задеваешь тысячелетия. – Как вы сумеете доказать?

– Еще не знаю.

– Да-а, нелегка ложь во спасение.

– Надо будет завтра... непременно надо будет как-то ее отвлечь.

«Есть такой анекдот»... Эти слова не смели уже звучать в нашем доме. Юмор, в спасительную силу которого я всегда верил, оказался бессильным. И даже кощунственным. Он не мог более развлечь и отвлечь. Но Земля Обетованная способна была не только «отвлекать» от всего, кроме себя самой, но одновременно и магически к себе привлекать. В ней не было ничего окостеневшего от времени, застывшего в музейной почтительности, но все вокруг выглядело «историческим чудом». И все хотелось назвать не достопримечательным, а «достозамечательным», если бы существовало подобное слово.

Абрам Абрамович не переставал завораживать маму святынями Святой Земли. Мы неустанно открывали для себя и мамы обетованность того, что простиралось вблизи и вдали.

Чтобы исчерпать эти открытия и завершить наши автобусные маршруты, целой жизни бы не хватило. Поэтому на следующий день мы снова отправились в путешествие по городу городов и его окрестностям...

Псалом 137-й гласит: «Если забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни, язык мой, к гортани моей, если не буду помнить тебя...»

– Но чтобы запомнить, надо видеть и видеть! – провозгласил в экскурсионном автобусе Анекдот, переставший доверять философской

целительности анекдотов.

– Удивительно... но всякий раз мне чудится, что я вижу этот город впервые, – отрешенно произнесла мама.

– Как лицо прекрасного человека, в котором всегда обнаруживаются новые покоряющие черты! – с воодушевлением поддержал Абрам Абрамович. И взглянул полуукрадкой на лицо мамы.

Мне же отправиться в то путешествие не довелось: за полчаса до отъезда меня срочно вызвали к пациенту.

Мама обнимала и притягивала к себе Игоря: меня она имела возможность обнимать и притягивать каждый день.

Отец удалился на заднее сиденье и, сгорбившись, привычно опершись на палку, думал о дочери. Наверное, это было так: ни о ком и ни о чем ином он думать уже не мог. Несчастья, я понял, иногда обладают мощностью непреодолимой: им на милость, а точнее, на расправу сдаются и стойкость, и героизм.

Автобус в очередной раз затормозил возле старинных домов, которые гид-репатриантка упрямо и раздражающе именовала «экспонатами». Шофер широко распахнул двери, как распахивают гостеприимные объятия. Гид-репатриантка не упускала ни единой возможности доказать: хотя я здесь недавно, мне столь досконально уже все известно, будто я появилась на свет именно тут. Самоутверждение было для нее дороже других «утверждений». А легендарный город был, похоже, лишь поводом «доказать»... Экскурсию она вела «индивидуально», по-своему. «Так ей казалось», – сообщил мне потом, через много времени, Игорь, припоминая все детали того путешествия.

– Ничего нельзя пропустить! – восклицала она, не понимая, что, стремясь не упустить ничего, обычно упускают самое главное.

Она требовала распахивать двери чересчур часто. Шофер по должности обязан был подчиняться. Он, непритворно деликатный, предупредительный, и на этот раз распахнув, поспешил на помощь экскурсантам: протянуть руку, вовремя подхватить...

Два смуглых человека, возникнув будто из-под земли, оказались за его заботливо пригнувшейся спиной. Оба были вызывающе невозмутимы и вызывающе молоды. Не позволив никому ничего сообразить, они, один за другим, произвели какие-то броски руками, как это бывает в спорте или игре. Бутылки полетели через спину шофера внутрь автобуса. Вдребезги, как от взрывной волны, разлетелось бутылочное стекло, освободив путь жидкости, не умевшей тушить и спасать, но созданной,

чтобы воспламенять, поджигать, умерщвлять. Автобус заполнился дымом, огнем. И криком...

Абрам Абрамович вскочил и бросился за теми двоими. Но отец волевым рывком остановил его:

– Надо вырвать отсюда! Каждого... Каждого!..

Он, сумев – непонятно как! – с прежней стремительностью покинуть свое дальнее место, вроде бы выпрямился, возродился для отваги, всегда требующей быть впереди.

Случайности, совпадения...

Может, Господь пожелал избавить всех нас от мучительной необходимости лгать (пусть во спасение – все равно!), хитрить, изворачиваться? Может, захотел подарить нашей семье облегчение? А маму спасти от узнавания невыносимого?

Нет, грех обращаться за аргументами к Богу!

Бутылки с горючей смесью в «автобус смерти» швырнул фанатизм, для которого безразлично, кто и что взорвется, прекратит дышать, двигаться: дети, или их матери, или старики. Горючая смесь... Горючие слезы...

Мы пытались скрыться от злобы, политики. Но они вновь настигли нашу семью.

* * *

Быть может, придут времена, когда разные убеждения, так часто хватающиеся за оружие, смогут взглянуть друг другу в глаза без слепящего зверства непримиримости, а, напротив, с добротой примирения и Небесами ниспосланным желанием понять и простить? Дай Бог, чтобы так случилось! Но и это не защитит уже нашу семью...

Дай Бог, чтобы когда-нибудь политика спасала и уводила от края пропасти, а не подталкивала людей к тому краю...

Я думаю об этом сейчас, пересекая вслепую, наизусть, не глядя перед собой, улицы, площади, переулки. А тогда... До размышлений ли было?

* * *

В больницу доставили всех. Хотя многие отделались легкими травмами, несмертельными ожогами, шоком или просто испугом.

Но те, что уютно устроились в глубине автобуса, оказались в состоянии тяжком.

Меня разыскали у пациента.

– Она обречена, – сказал нам врач с тем неестественным, деланным спокойствием, с каким объявляют несправедливый, но и неотвратимый приговор. – Осколок бутылки угодил... прямо в висок. Словно кто целился...

Это был приговор нашей маме.

Отец, не заметив больничного дивана и кресел, опустился прямо на пол.

– Нет! Нет! Нет!.. – закричал Игорь. И вцепился мне в плечо, чтобы не рухнуть.

А я?.. Не помню, что было со мной. И только Абрам Абрамович как стоял, так и стоял, будто ничего не случилось.

Осмыслить то, что стряслось, я не мог.

Жили люди, любили друг друга... Кому это помешало? И как нам, оставшимся, существовать дальше? Я бы предпочел тоже оказаться в комфортабельном «автобусе смерти». Может, мне бы удалось заслонить маму собой? Террористы... Разве мы причинили им зло?..

И кто вообще имеет право убить человека? Кто имеет право убить человека? Кто имеет право убить человека?! Кажется, я, психиатр, сходил с ума.

А потом и мысли исчезли... Оцепенев, я смотрел на маму, не видя, кроме нее, никого.

И вдруг кто-то вонзил мне в ухо: «Ваш друг погибает. В соседней палате...»

– Абрам Абрамович, я не хочу прощаться... Вы не должны уходить... Вы так любите жизнь!

– Я любил вашу маму... – ответил мне он. И улыбнулся. А потом виновато оглядел свой костюм, свои ботинки: на больничную постель его уложили не раздевая.

Он давно не рассказывал анекдотов. Но неожиданно сказал, как бывало раньше, давно:

– Есть такой анекдот...

И умолк. Мягкая и горестная улыбка не покидала лица.

Его сердце разорвалось от любви. Не сердце отца, не сердце Игоря, не мое...

Первой погибла Даша. Погибли мама, Абрам Абрамович. Но нет, погибла вся наша семья. Вся... Ее уже не было.

Тель-Авив, 1995 г.